МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

В. Л. БУРЦЕВ

В ПОГОНЕ ЗА ПРОВОКАТОРАМИ



В. Л. Бурцев

В погоне за провокаторами



Москва
Берлин
2020

УДК 94(47).07
ББК 63.3(2)5-414
Б91

Бурцев, В. Л.
Б91 В погоне за провокаторами / В. Л. Бурцев. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 248 с.

ISBN 978-5-4499-1240-4

Автор этой книги — историк революционного движения, публицист Владимир Львович Бурцев (1862–1942 гг.), эмигрировавший в 1918 г. из большевистской России. До революции 1917 г. В. Л. Бурцев занимался разоблачением провокаторов в русском революционном движении, что и позволило ему в эмиграции написать очерки о хорошо известном ему мире провокаторов, врагов рабочего революционного движения.

УДК 94(47).07 Б
БК 63.3(2)5-414

ISBN 978-5-4499-1240-4

Оглавление

Предисловие

Среди озлобленных врагов советской страны одно из первых мест занимает старый эмигрант, свидетель ряда революционных выступлений против царизма, Бурцев.

Как могло случиться, что эмигрант очутился в стане врагов пролетариата? Лучшим ответом, как Бурцев стал белогвардейцем, служат его воспоминания. В них он выявляет, какое необыкновенное историческое недоразумение произошло с либералом и конституционалистом.

Самодержавие своими преследованиями создало ему ореол революционера и опасного врага, в то время как к настоящей народной пролетарской революции Бурцев не имел никакого дела.

Свою революционную карьеру Бурцев начал в начале восьмидесятых годов, когда еще шумели революционные волны, поднятые Народной Волей. Принимая участие в борьбе Народной Воли, зная лично многих народовольцев, Бурцев не разделял взглядов якобинского крыла Народной Воли. Героическая борьба за власть русских якобинцев была не только чужда и непонятна Бурцеву, она была ему определенно враждебна. Но, не разделяя якобинских взглядов Народной Воли, Бурцев далеко не разделял и тех настроений, которыми жило и двигалось более умеренное крыло партии. На правом крыле народовольчества Бурцев занимал самое правое место.

В борьбе он был одиночка, к революции и партии он не примыкал никогда. Цель борьбы Бурцев видел не в завоевании власти якобинцами, а только в получении конституции. С помощью демократических свобод и конституции он надеялся достигнуть разрешения всех стоящих перед Россией задач. «Я постоянно твердил, что нам надо только свободы слова и парламент, и тогда мы мирным путем дойдем до

самых заветных наших требований» («Воспоминания»). Более чем умеренный в своих требованиях, Бурцев естественно не нашел себе союзников в лагере борющихся революционных партий России.

В момент героических попыток остатков Народной Воли восстановить народовольческие организации Бурцев оставался в стороне. Вся его работа заключалась в том, что он, имея знакомства и связи, оказывал, как он говорит, «отдельные услуги, какие обычно оказывала молодежь».

В 80-х, 90-х и 900-х годах русское революционное движение росло, оформлялось и дифференцировалось. На место революционной мелкой буржуазии якобинского типа и на место мелкобуржуазных народников, революционеров по недоразумению, выходили могучие колонны пролетариата, а вслед за ними и вместе с ними ширилось революционное движение в городе и деревне. Бурцев резко отвернулся от пролетариата и социал-демократии. В революционном движении эпигонов народничества он увидел, как он сам говорит, много такого, «что многих заставило и тогда сразу встать к ним в оппозиционное отношение».

Ближе всего сердцу Бурцева по своей программе были либералы. Борьба за свободу слова, борьба за конституцию роднила Бурцева с либералами. От либеральных течений его отделял лишь темперамент взбунтовавшегося мелкого буржуа. Не связанный ничем с процессом производства, не связанный ни с одним классом, ни с одной группой, и в то же время связанный своей идеологией с оппозиционной буржуазией, Бурцев вполне естественно мог вносить в эту идеологию такие струи, которые не вкладывали туда всеми корнями связанные с жизнью земцы, аграрии, представители промышленного капитализма. В либеральном прогрессивном лагере, рассказывает Бурцев, «я видел много здорового, но в этом лагере я не нашел ни широты перспектив, ни энергии,

ни жертвенности, ни желания рисковать». Родственный по идеологии либеральный лагерь оказался чуждым по тактическим приемам борьбы.

Социал-демократия формировала на бой пролетарские колонны и все силы свои полагала в массовом ударе пролетарских батальонов. Социал-демократы видели разрешение революционных задач в массовом движении класса. Дворянско-феодальные и буржуазные группировки переживали быстрый процесс партийности и кристаллизации, формируя свои организации кто раньше, кто позже, ставя целью своей борьбы разрешение проблемы власти. Ни там, ни здесь Бурцев не находил себе места. В тот момент, когда вопрос существования дворянско-феодального строя решался классовыми армиями, стоящий меж классов, отражающий лишь гибнувшие прослойки, Бурцев стал ярым провозвестником террора.

В своих печатных выступлениях главным образом 90-х годов он подчеркивал необходимость центрального террора. Поднимая знамя террора, он претендовал на традиции Народной Воли. Бурцев не мог понять, что русские якобинцы путем террора стремились разрешить проблему власти, а он путем террора стремился лишь вырвать из рук правительства случайные временные уступки в пользу либералов.

Самодержавие 80–90-х годов ударами Народной Воли приучено было бояться террористов, и слово террор бросало его в дрожь. Когда Бурцев, никем не поддержанный и ни с кем не связанный, заговорил о терроре, он привлек к себе внимание охранки. С Бурцевым стали бороться. К Бурцеву самодержавие стало относиться как к серьезному революционеру, всячески пытаясь уничтожить его, употребляя все усилия на то, чтобы гнать Бурцева из страны в страну. Его стремились или запрятать в тюрьму за границей, или получить в свои руки для расправы. Но разговоры Бурцева были

так же страшны, как и его дела. Не будучи революционером-практиком, Бурцев не сделал в своей жизни ни одного революционного поступка.

Бурцев хорошо знал среду эмигрантов. Это дало материал для его исторических предприятий.

Как историк революционного движения, Бурцев не обратил внимания на революционную борьбу классов.

Одиночка в своей революционной жизни, он в революции наблюдал и видел лишь отдельных героев и безнадежную толпу. Жизни «святых» революции Бурцев и посвящал свои исторические изыскания. Изданное с его помощью и под его редакцией «Былое» снискало себе широкую известность среди огромной массы оппозиционно настроенных к самодержавию читателей. Одиночная борьба толкнула Бурцева на путь террористический, но заговорщицкая борьба вырабатывала свою технику с организациями кружков и героями заговорщиков. Там, где революционное движение опиралось на заговор, а не на класс, оно не имело периферии и глубоких корней. Достаточно было проникнуть провокатору, и революционные ячейки легко могли быть уничтожены.

С классовым движением такими методами бороться нельзя. Массовые партии, опирающиеся на класс, нельзя разрушить и захватить агентами правительства.

Когда в 900-х годах снова поднялось революционное движение, и мелкая буржуазия города и деревни вышла на сцену если и с новыми лозунгами, то со старыми тактическими приемами центрального террора, естественно, что самодержавие снова использовало против растущего революционного напора испытанный прием — провокацию. Провокация дала правительству ряд блестящих побед над мелкобуржуазными революционерами, но она же приводила к тому, что представители департамента полиции превращались в угрозу существования самого департамента.

Бурцев неожиданно после революции 1905 года выплыл на сцену, как борец с департаментом полиции и его техническими средствами борьбы. Эта слава досталась Бурцеву совсем не по заслугам. Борцом с департаментом полиции он был меньше всего. Борцом с департаментом полиции было растущее революционное движение. Массовый революционный напор приводил к тому, что аппарат самодержавия начал рассасываться, распадаться и разваливаться. Отрывая от аппарата самодержавия отдельных его представителей, революционное движение должно было оторвать от этого аппарата и те его части, которые были заключены в недрах департамента полиции. Такие перебежчики на сторону революции естественно и приносили с собою и тайны департамента полиции. Видный чиновник Бакай начал разоблачать тайны департамента полиции. Бурцев сделался его пером и глашатаем. Этот случайный союз, возникший в момент роста революционных волн между историком мелкобуржуазного революционного движения и кающимся чиновником, продолжался и в эмиграции.

Самым крупным делом Бурцева в борьбе с самодержавием считалось открытие им провокации Азефа. Бурцев горделиво приписывает себе честь вскрытия истинной роли Азефа перед центральным органом партии эсэров. Но достаточно вчитаться в страницы воспоминаний Бурцева, чтобы понять, что не Бурцев открыл Азефа. Азеф был открыт и уничтожен самим бывшим директором департамента полиции Лопухиным в тот момент, когда он понял, что в лице Азефа полиция имеет не столько орудие борьбы с революцией, сколько сами используются предприимчивым и сильным провокатором. Вот и вся деятельность Бурцева.

В тот момент, когда классовая дифференциация страны выдвинула на революционную сцену массовые батальоны пролетариата, Бурцев стал лишним в революции человеком,

революционером и эмигрантом по недоразумению. По своей идеологии Бурцев ни разу не ушел дальше буржуазной демократии. Он шел в ногу с российской буржуазией в борьбе с самодержавием, хотя иногда и рекомендовал террор, как временный метод борьбы. Бурцев на практике принимал энергичное участие в уничтожении той революционной организации, которая пробовала практически осуществить террористические рассуждения о центральном терроре. Борясь с Азефом, Бурцев нанес центральному комитету партии эсэров и идее центрального террора удар, от которого он не мог уже оправиться. Но, нанося партии эсэров уничтожающий удар, Бурцев совершил свое последнее дело в жизни.

Не поняв в самом начале своей деятельности якобинскую постановку проблемы борьбы за власть, Бурцев никогда не мог понять основные задачи революционной борьбы за власть. Не понимая основных вопросов революции, Бурцев в момент совершения самой революции, естественно, оказался в лагере тех, кто ставил вопрос не о развертывании и укреплении революции, а о задержке революции.

Бурцев и теперь продолжает бороться с пролетариатом во имя конституции и парламента. Но если в тот момент, когда пролетариат еще формировался, борьба с самодержавием во имя конституции и парламента являлась борьбою, расчищающей революционную дорогу пролетариата, то в тот момент, когда пролетариат взял в свои руки власть, борьба во имя конституции и парламента является расчищающей дорогу лишь реставрации старых отношений, тех отношений, которые когда-то гнали Бурцева по Европе и держали его в английской тюрьме.

С. Пионтковский

* * *

Владимир Львович Бурцев родился в 1862 году. В студенческие годы был связан с народовольческим движением, был выслан в 1886 году в Иркутск, а в июле 1888 года бежал из Сибири за границу. Из литературных работ самой интересной является сборник материалов и дат о деятельности революционеров «За сто лет». Эта работа была проделана Бурцевым за границей.

В революцию 1905 года письмом к Витте Бурцев обещал царизму поддержку выступлением против террора, если последнее перестанет преследовать революционеров. Восстание пролетариата считал «несчастием». В годы войны занял резко-шовинистическую позицию и беспрепятственно вернулся в Россию.

В революции 1917 года он занимался клеветой на революционеров и особенно на большевиков, поддерживал поход Корнилова на удушение революции. Вышвырнутый Октябрем за борт, издает в Париже на средства белогвардейцев газету «Общее дело» и пытается организовать черносотенство эмиграции для похода на большевиков.

Печатаемые очерки являются сокращенным изданием вышедшей в 1924 году в Берлине книги: «Борьба за свободную Россию. Мои воспоминания; 1882–1924 гг., т. I». Сокращения коснулись мелких деталей, бесконечных повторений, самовосхваления автором своей якобы революционной работы. Чрезвычайно много и нудно рассказывает Бурцев обо всех своих литературных мероприятиях. Все это опущено, так же как и раздел воспоминаний о студенческих годах, который ничего нового в фактическом отношении не дает.

Книга представляет интерес в той части, где Бурцев рассказывает не о себе, а об известном ему мире провокаторов, врагов рабочего дела, к числу которых стал принадлежать на закате дней своих и «профессионал клеветы» — Бурцев.

Глава первая

Первая моя встреча с Геккельманом-Ландезеном-Гартингом в Женеве — Обвинение Ландезена в провокации в 1884 г. — Встречи с Ландезеном в Париже — Динамитная мастерская

Летом 1889 г. я покинул Женеву. Мне хотелось побывать в Париже и познакомиться там с новыми людьми.

...В Париже я стал хлопотать о том, чтобы вместо «Свободной России»[1] начать издавать «Земский Собор» с ярким революционным направлением и в то же самое время с призывом к общенациональному объединению.

Но и в Париже, куда на выставку толпами приезжали русские из России, не нашлось никого, кто бы горячо принял к сердцу заботу о создании такого органа. Не нашлось даже никого, кто бы вообще понимал, что без свободного заграничного органа немыслима борьба с реакцией.

...Для «Земского Собора» я приготовил несколько статей на принципиальные темы, но я не встретил никого, кто бы дал мне возможность начать издавать этот орган. Тогда я решил нелегально съездить в Россию и там в русской обстановке переговорить о нем с теми, кто мог бы мне помочь.

...Попытки ехать в Россию делались нами при очень трудных обстоятельствах. Прежде всего, нужны были средства и паспорта, а у нас не было ни того, ни другого. Мы, тем не менее, начали готовиться к поездке.

Но мы не подозревали, что в это время вокруг нас провокация ткала свою паутину и что мы были накануне больших несчастий.

Еще в Женеве, после выхода второго номера «Свободной России», случилось одно из самых роковых событий в моей жизни. В то время я не обратил на него никакого внимания. Я его понял только через год-полтора.

Однажды Серебряков[2] пообещал познакомить нас, участников «Свободной России», со своим хорошим приятелем — Ландезеном[3], другом эмигранта А. Баха[4], с кем тот прожил на одной квартире последние два года в Париже, и близким человеком Лаврову[5] и парижским народовольцем — Ошаниной (Полонской)[6], Тихомирову[7] (когда он был старым Тихомировым) и др. В Париже Ландезен кончил земледельческую школу и, будучи очень состоятельным человеком (за такового он выдавал себя и таким его считали все), бывал часто полезен эмигрантам. Узнав об основании «Свободной России» и о моем приезде за границу, он, оказывается, захотел быть также полезным и нам, — и, будучи проездом в Женеве, попросил Серебрякова познакомить его с нами.

Мы, конечно, согласились принять Ландезена, и Серебряков на другой день привел его на квартиру Дебагорий Мокриевича[8].

Из завязавшегося разговора я узнал от Ландезена, что он из Петербурга, бывал там в 1883–84 гг., был знаком с Якубовичем[9] и, между прочим, с Ч.

Тогда я сказал Ландезену:

— Я очень виноват перед вашим Ч. , так как я невольно был передатчиком очень неприятных сведений В начале 1884 г в партию народовольцев я передал указания, сделанные Дегаевым[10], что в революционной среде находятся два агента полиции: это—Ч. и какой-то Генкель.

— Не Генкель, а Геккельман! — поправил меня несколько смутившийся Ландезен.

В это время Серебряков, ходивший по комнате, зашел за спину Ландезена и сделал мне какой-то предостерегающий жест. Я понял, что я сделал какую-то оплошность, заговорив о Гекельмане, и переменил разговор.

Когда ушел Серебряков с Ландезеном, Дебагорий-Мокриевич сказал мне:

— Ну, и попали Вы впросак! Де ведь это Геккельман и был.

На следующий день утром ко мне кто-то постучал в дверь и затем вошел Ландезен.

Сначала мы говорили на разные случайные темы, а потом я ему сказал:

— Я должен сказать Вам прямо, что я знаю, что Вы — Геккельман, тот самый, которого я обвинял в провокации.

Ландезен, смеясь, сказал мне:

— Ну, мало ли чего бывает! Я не обращаю на это внимания!

К этому первому своему обвинению Геккельмана Ландезена я впоследствии возвращался много раз в разговорах и с Дебагорий-Мокриевичем, и с Драгомановым[11], и с Серебряковым, и с очень многими другими.

Вот при каких обстоятельствах я в первый раз обвинял Линдезена в провокации.

В 1884 г. я был студентом петербургского университета. Меня в гостинице посещал между прочим нелегальный Мих. Сабунаев[12]. Он иногда и ночевал у меня. Однажды он пришел ко мне не в обычный час, рано утром, сильно взволнованный, разбудил меня и сказал:

— Львович, в партии есть два провокатора: Ч. и Геккельман!

По его словам, в Петербург приехали из Парижа представители Народной Воли[13] (как потом оказалось, — Лопатин[14], Салова[15], Сухомлин[16] и др.) и привезли копию дегаевской исповеди, где есть указания на этих двух лиц, как на агентов Судейкина[17].

Я тотчас же пошел отыскивать хорошо мне знакомого народовольца Мануйлова[18] из группы Молодой Народной Воли[19], чтобы через него найти скрывавшегося тогда нелегального П. Якубовича, молодого поэта, бывшего лидером молодых народовольцев, которые тогда вели кампанию против старых народовольцев. Мне сообщили, что Мануйлов действительно мог бы найти Якубовича, но что он сейчас сам

болен и лежит на одной конспиративной квартире. Мне сообщили адрес этой квартиры. Это была квартира Ч.!

Революционер Мануйлов, — он тоже был тогда нелегальным, — лежит на квартире провокатора! К нему на свидание ходят все нелегальные, в том числе Якубович! Мне было ясно, что вся организация была в руках полиции. С полученными сведениями я послал к Мануйлову его близкого приятеля Михаила Петровича Орлова[20] и к известному часу обещался к нему прийти сам. Когда в условленное время я поднимался по лестнице в квартиру Ч., меня встретил взволнованный Якубович.

Ему, оказывается, уже сообщили мои сведения.

— Ч. и Геккельман, — сказал мне Якубович, — близкие мне лично люди. Я за них отвечаю. Прошу Вас забыть, что Вы сообщили. Если это станет известным полиции, то будет провалено одно большое революционное дело.

Якубович имел в виду, очевидно, тайную дерптскую типографию, с которой был связан Геккельман и где в то время печатался 10-й № «Народной Воли».

Я, конечно, сказал Якубовичу, что об этом деле лично ничего не знаю, что являюсь только передатчиком этих сведений и, конечно, никому о них не буду более говорить.

Но члены «Молодой Народной Воли» были в резких отношениях с приехавшими из Парижа народовольцами и не встречались с ними. Якубович попросил меня раздобыть записки Дегаева. Через несколько дней я от Садовой получил выписку из показаний Дегаева, касающуюся Ч. и Геккельмана, и передал ее Якубовичу, и снова выслушал от него просьбу-требование никому не повторять этого вздорного обвинения.

Через несколько месяцев я в Москве встретил нелегального Лопатина. В разговоре со мной он, между прочим, сказал:

— Это Вы сообщали о Ч. и Геккельмане?

Я ответил:

— Да!

— Так вот: я категорически запрещаю Вам когда-нибудь кому-нибудь повторять эти слухи! — подчеркивая каждое слово, сказал мне Лопатин.

Я дал слово и, действительно, никогда никому ни разу об этом более не говорил, пока через пять лет в квартире Дебагорий-Мокриевича в Женеве не встретил самого Геккельмана под именем Ландезена.

Ландезен интересовался изданием «Свободной России» и, кажется, оставил нам франков 500. Вскоре он уехал в Париж.

Позже, в Париже, я часто встречал Ландезена. Он в это время весьма часто посещал квартиры наиболее известных эмигрантов и считался у них своим человеком. Ему верили, и все добродушно посмеивались, когда я в сотый раз повторял свой рассказ о том, как в 1884 г. я этого именно Ландезена-Геккельмана обвинял в том, что он — провокатор.

Во время наших сборов в Россию Ландезен заявил нам, что он тоже едет в Россию для устройства своих денежных дел с отцом. Старые его товарищи, Бах и другие, давали ему указания и связи; молодые революционеры, и я в том числе, тоже дали ему свои указания.

Ландезен ехал нелегально с французским паспортом при очень благоприятной обстановке и надеялся собрать нужные нам сведения для наших поездок.

Когда он уехал, мы продолжали готовиться к поездке в Россию. Я жил на бульваре Сен-Жак вместе с Кашинцевым. На нашей квартире иногда происходили собрания тех, кто должен был ехать в Россию. У нас, между прочим, бывал Борис Рейнштейн, кто в Цюрихе вместе с Дембо[21] занимался опытами с бомбами. Он рассказывал нам об этих опытах и однажды попросил на нашей квартире проделать какой-то химический опыт. Он принес нужные реторты, материалы и

стал эти опыты делать вместе с другим опытным химиком — эмигрантом Лаврениусом. Опыты были с веществами очень пахучими, и нам приходилось принимать меры, чтобы соседи не поняли, что у нас делается. Это не было приготовление бомб, но мы понимали, что если об этом узнает полиция, то нас будут преследовать. Мы не были химиками и присутствовали более как зрители, чем как активные участники.

Во время своих приготовлений к поездке в Россию мы как бы забыли о Ландезене, и от него после его отъезда в Россию долго не было никаких сведений.

Но вот неожиданно, когда мы были все в сборе на моей квартире и о чем-то весело беседовали, раздался стук в нашу дверь. Я открыл дверь и на лестнице увидел Ландезена.

Он как будто издали рассматривал нас и почему-то, стоя некоторое время на пороге, не решался войти к нам. Потом-то мы поняли, почему он не решался сразу войти в комнату. Он, конечно, мог предполагать, что за время его отсутствия его расшифровали и встретят совсем иначе, чем бы ему хотелось. Но мы, увидев его, все как-то радостно закричали, и он понял, что опасаться ему нечего. Он вошел тогда к нам и начал рассказывать о своей поездке в Россию.

Оказалось, по его словам, он, устраивая свои денежные дела с родными, по пути кое-что видел, кое-что слышал, даже кое-что привез нам, что нам нужно для поездки в Россию. Вскоре даже мы получили от него небольшие деньги, отчасти наличными, отчасти какими-то бумагами, а также паспорта... для поездки в Россию. Деньги были незначительные — тысячи две франков, но они позволили нам ускорить наши поездки в Россию.

Первыми должны были уехать Раппопорт[22] и я. Раппопорт ехал для того, чтобы связать эмигрантов с революционными кружками в России. Я ехал, главным образом, чтобы добиться возможности начать издавать вместо «Свободной

России» «Земский Собор». Имея в руках номера «Свободной России», там, на месте, в России, я рассчитывал переговорить с теми, кто мог бы сочувствовать нашей постановке революционной борьбы.

Однажды на мою квартиру пришел сильно взволнованный Рейнштейн[23]. Он просил всех нас быть осторожными, очистить все наши квартиры, уничтожить все, что могло свидетельствовать о наших химических опытах и т д. Говорил он намеками. Мы поняли, что что-то случилось, вследствие чего могут быть у нас обыски. Особенно мы не расспрашивали Рейнштейна, но догадались, что он, очевидно, участвовал еще в каком-нибудь неизвестном нам кружке, и что в этом кружке делались не только химические опыты, а что-нибудь и такое, что он и Дембо делали в Цюрихе. Этой таинственностью в рассказе Рейнштейна больше всех нас заинтересовался Ландезен. Он сильно допытывался, и мы возмущались его любопытством.

Впоследствии, когда я уже уехал из Парижа, оставшиеся мои товарищи, а также и Ландезен, узнали, что у Рейнштейна действительно существовал другой кружок, о котором мы не подозревали. В этом кружке, кроме Рейнштейна и Раппопорта, были еще эмигрант А. Теплов[24], Накашидзе[25] и еще кто-то. Они делали бомбы. Для опытов ездили в Венский лес и там их бросали. Во время одного из таких опытов в Венском лесу был ранен Теплов. Обо всем этом я узнал только впоследствии, когда уже был на Балканах.

Прошло некоторое время. Не было никаких обысков. Но настроение было тревожное, и мы — Раппопорт и я — старались возможно ускорить свой отъезд в Россию.

В начале мая 1890 г. мы выехали в Россию. При отъезде приняли меры предосторожности и не решились сесть в поезд в Париже, а сели на станции Сен-Дени. Нас провожали Кашинцев[26], Рейнштейн и... Ландезен. Словом, в Париже о

нашем отъезде не знал никто, кроме... Рачковского[27], заведывающего тогда всем русским сыском за границей!

Глава вторая

Поездка в Россию Ю. Раппопорта и моя — Слежка за нами дорогой — В Румынии — В Константинополе — Обвинение Ландезена в провокации — Провокация Ландезена в 1883–84 гг. в России и позднее за границей

В Базеле нам пришлось ночевать. Выходя с вокзала, я тогда же сказал Раппопорту, что за нами следят. Он рассмеялся и стал вышучивать меня, уверяя, что это мне только мерещится. Утром мы поехали дальше, и я ему снова указал, что за нами есть слежка. Но в Цюрихе, где мы меняли поезд, я никакой слежки не видел, и Раппопорт еще больше стал вышучивать мои первые подозрения и упрекать меня в мнительности. На австрийской границе, однако, он согласился, что за нами слежка действительно есть.

В Вене наши товарищи, кому мы говорили об этой слежке, сказали нам, что она едва ли относится к нам, а что австрийская полиция в эти дни усиленно занята какими-то своими поисками, не имеющими отношения к русским революционерам.

Когда мы уезжали из Вены и затем были в Лемберге, для меня стало настолько очевидно, что за нами следят, что я наотрез отказался ехать на границу для переправы в Россию. Только после долгих уговариваний Раппопорт согласился ехать со мной в Румынию, где мы могли принять меры, чтобы уйти от слежки и безопасно переправиться в Россию.

В Румынии у меня с Раппопортом снова завязался спор на старую тему — есть слежка или нет слежки, можем ли мы теперь перейти границу или нет. Раппопорт упорствовал на своем, и как мне ни было тяжело, но я решился расстаться с ним. Он поехал на границу, а я остался в Румынии. Расставаясь с ним, я был почти убежден, что его арестуют тут же на границе.

В Румынии, в Плоештах, я заехал к старому русскому эмигранту Доброджану[28]. Там через несколько дней мы получили известие, что на русской границе, в Унгенах, Раппопорт был арестован. Он долго просидел в тюрьме и был потом совершенно больным выпущен на волю.

Я еще не уехал из Румынии, как получил из Парижа письмо в ответ на свои письма и на письма Раппопорта. Кашинцев просил меня быть осторожным и не рисковать ехать в Россию. Ландезен арест Раппопорта объяснял случайностью, не без злости вышучивал мою осторожность и говорил о необходимости ехать дальше. Он показывал вид, что пишет от имени других моих товарищей. На самом же деле эти письма были писаны им совместно с Рачковским.

Чтобы замести следы, я на некоторое время съездил по Дунаю в Белград и потом снова вернулся в Румынию.

Румынские товарищи со всеми предосторожностями отправили меня в Сулин, румынский городок на берегу Дуная, против русского города Измаила, к русскому эмигранту доктору Ивановскому (Василию Степановичу).

Ивановский встретил меня очень тепло и гарантировал мне, что благополучно устроит мне переезд в Измаил, но просил, пока не будет все готово для переправы через Дунай, несколько дней никуда не выходить и просидеть у него в верхнем этаже в отдельной комнате. Кроме доктора, ко мне приходил и приносил мне пищу только ближайший его доверенный человек, фельдшер Федоров. Как потом я узнал, этот «доверенный человек» был профессиональным шпионом, давно приставленным к доктору, и он доносил о каждом моем шаге русским властям в Измаиле.

По ту сторону Дуная была устроена для меня засада. Я, конечно, этого не подозревал и рвался возможно скорее ехать в Измаил. Три раза я делал попытку переправиться через Дунай, но неисправность того или другого из лиц, кто долж-

ны были принимать участие в моей переправе, заставляла меня откладывать мой отъезд. В конце концов, я решил, что эти мои троекратные попытки переехать Дунай могли быть замечены полицией, и я отказался от мысли переправиться в Россию в этом месте.

Простившись с доктором и ничего не сказав фельдшеру, я сел на пароход, отходивший в Константинополь.

В Константинополе я благополучно высадился и отправился в русское консульство визировать свой фальшивый паспорт для отъезда в Россию. Я рассчитывал на ближайшем пароходе ехать в Батум. В консульстве меня попросили прийти за визой часа через два.

На улице я купил французскую газету и, как громом, был поражен известием из Парижа. Там было арестовано много русских и, между прочим, и мои друзья, оставшиеся на моей квартире. Говорилось о каких-то опытах с бомбами около Парижа. В первый момент я ничего не понял. Когда я уезжал, никаких бомб не было и никаких опытов с ними не делалось. Но, очевидно, никакой ошибки тут не могло быть. Для меня было ясно только одно, что при данных условиях я не должен ехать в Россию, и я отправился в Болгарию — в Софию.

По дороге, в Филиппополе, во французских газетах я прочитал и подробности парижских арестов. Для меня стало ясно, хотя об этом в газете и не было сказано, что мы были выданы, и притом никем иным, как Ландезеном, что он — агент русской полиции. Об этом я сейчас же написал в Париж. Но скоро в Софии я получил из Парижа письмо, где на меня обрушились за одно такое предположение. Потом во время нового моего приезда в Румынию Доброждан получил письмо от Серебрякова, в котором он предостерегал против меня и говорил, что я погубил его друга Ландезена, обвиняя его в провокации.

Когда по указанию арестованных в Париже Ландезена стали открыто обвинять в провокации, то от имени многих эмигрантов к Ландезену пришел Серебряков и стал настаивать на том, чтоб он немедленно скрылся. Ландезен протестовал против обвинения в провокации и особенно сильно ругал меня, но, конечно, немедленно же скрылся из Парижа.

Верившие Ландезену и потом еще долго его защищали. В 1903 г., когда я был у Баха в Женеве и в присутствии эмигранта Билита упомянул о Ландезене, то он стал о нем говорить как о добродушном, добром, честном товарище, которого я загубил, обвиняя его, как провокатора. По словам Баха и Билита, Ландезен, чтобы избежать ареста, должен был уехать в Южную Америку — Чили или в Аргентину, где спустя некоторое время он и умер. Они смеялись над тем, что я все еще — даже в 1903 г.— могу считать его провокатором, и находили это какой-то нелепостью, не требующей даже опровержения.

Только впоследствии вполне выяснилась история с Ландезеном.

В 1882–83 гг. Ландезен, совсем молодым, когда он еще назывался Геккельманом, был заагентурен Судейкиным и по его указаниям занялся провокацией среди народовольцев. При участии Ландезена Якубович и его товарищи поставили тайную типографию в Дерпте и стали печатать орган партии «Молодой Народной Воли».

После присоединения группы Якубовича к организации Народной Воли, старые народовольцы (Лопатин, Салова и др.) в дерптской типографии печатали второе издание 10-го номера «Народной Воли» О связи Геккельмана Ландезена с Судейкиным случайно узнал Дегаев и об этом сообщил в своей покаянной исповеди парижским народовольцам. Выписки из его исповеди, касающиеся Ч. и Геккельмана, я и получил от Садовой в 1884 г. и передал Якубовичу, но ни он,

ни его товарищи не поверили этим обвинениям. При помощи Ландезена они закончили в Дерпте издание 10-го номера «Народной Воли» Они защищали Геккельмана именно потому, что он им помогал в таком ответственном деле, как издание «Народной Воли». Они полагали, что, если бы жандармы через Геккельмана знали о дерптской типографии, то они арестовали бы ее. Народовольцы тогда не подозревали, как далеко могут идти в своей провокации жандармы с их Судейкиными, а Судейкин тогда едва ли мог подозревать, что его приемники, идя по его дорожке, дойдут до Азефа[29]!

10-й номер «Народной Воли» был отпечатан, развезен по России, но... вскоре последовали аресты всех, кто только имел какое-нибудь отношение к изданию 10-го номера, и многих, кто к нему никакого отношения не имел. Выловлены были почти все отпечатанные номера «Народной Воли». Это было полное торжество судейкинской провокаторской тактики!

Роль Ландезена в тогдашнем разгроме народовольческого движения огромна. Дерптская типография еще несколько месяцев оставалась неарестованной, но в ней ничего более не печаталось. В этой типографии жандармы рассчитывали и впредь, при помощи того же Ландезена, продолжать печатать революционные издания, а затем распространять их и этим путем вылавливать революционеров, кто будут причастны к их распрострнению.

Но в феврале 1885 г. в этой типографии скоропостижно умер хозяин квартиры, революционер Переляев[30], и она таким образом неожиданно для жандармов была случайно обнаружена местной полицией. При обыске в ней были найдены документы Ландезена, и ему поэтому пришлось официально скрыться.

После провала дерптской типографии, — в начале 1885 г., — Геккельман с паспортом на имя Ландезена приехал

за границу. Эмигранты встретили его как одного из немногих уцелевших от тогдашних массовых арестов. Он вошел в их среду и стал пользоваться их доверием. Особенно хорошо сошелся с Бахом, Тихомировым, Лавровым, Серебряковым. Конечно, все время, как агент Рачковского, он их «освещал» и расстраивал все их дела. В начале 1889 г. он добился того, что они познакомили его с нами во время издания «Свободной России», и с тех пор он стал «освещать» и нас.

Начальник русского заграничного сыска Рачковский мог играть значительную роль за границей благодаря тому, что французское правительство стремилось во что бы то ни стало заключить союз с Россией и очень дорожило связями с русским правительством. Со своей стороны, русское правительство в общей политике готово было очень многое делать для французского, чтобы оно взамен того помогало ему в борьбе с эмигрантами.

Через своих агентов Рачковский не только освещал эмигрантскую жизнь, но занимался и уголовщиной, и провокацией. Им была разграблена типография «Народной Воли» в Женеве в 1886 г. Его агент, Яголоковский, участвовал в бросании бомб в Бельгии, когда это надо было русскому заграничному сыску для компрометирования русских эмигрантов. Через Ландезена Рачковский много сделал для того, чтобы Тихомиров уехал в Россию, и на деньги, данные Рачковским, Ландезен помог Тихомирову печатать его брошюру «Почему я перестал быть революционером».

Когда весной 1890 г. через Ландезена Рачковский узнал, что Рейнштейн в Париже занимается бомбами, то Ландезен с его согласия принял участие в этом деле. Рачковский рассчитывал арестовать наиболее деятельных эмигрантов, создать против них большой процесс, надолго от них отделаться и разгромить русскую эмигрантскую колонию в Париже. Он надеялся, что французское правительство в данном случае

широко пойдет ему навстречу. Было арестовано человек 7–8, принадлежавших к небольшому отдельному кружку, и из них создали процесс. Во всем этом Рачковскому тайно оказывали огромные услуги и французская полиция, и французское министерство внутренних дел.

Однако Рачковскому пришлось отказаться от многого, о чем он мечтал вначале, когда подготавливал аресты. Процесс сразу принял скорее неблагоприятный характер для русского правительства, и во всяком случае аресты в Париже вовсе не отразились на общем положении русских эмигрантов во Франции.

Один из защитников подсудимых Мильеран[31] потребовал ареста и привлечения к делу агента Рачковского провокатора Ландезена. В этом его решительно поддержали и французская пресса, и французское общественное мнение, и даже суд. Ландезен, однако, благодаря податливости французского министра внутренних дел Констана имел возможность скрыться, и сам Рачковский лично благополучно вышел из этого дела. По суду арестованные эмигранты были приговорены к одному-двум годам тюрьмы, а Ландезен заочно был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

За свое предательство и свою провокацию Ландезен был щедро награжден. Правительство прикомандировало его, как чиновника, к одному из заграничных посольств, представители высшей аристократии принял участие в его крещении, Александр III[32] разрешил ему переменить фамилию Гекельмана на Гартинга (Аркадия Михайловича) и т. д. С тех пор Ландезен сам занялся организацией политического сыска за границей и долго заведывал им, между прочим, в Берлине. В конце концов, он имел наглость (другого слова нельзя подыскать) добиваться того, чтобы на эту должность его перевели в Париж, а Рачковский постарался даже, чтоб он был награжден французским орденом Почетного Легиона.

Но с русского эмигрантского горизонта Ландезен с тех пор совершенно исчез.

В 1908 г. я был в театре Шатлэ. Давали какой-то русский спектакль. Во время антракта в кулуарах я обратил особое внимание на человека, проходившего в толпе мимо меня, фигура которого меня очень поразила и показалась мне знакомой. Чтобы получше всмотреться в его лицо, я стал его искать, но второй раз увидеть его мне никак не удалось.

Я не ошибаюсь, что в театре Шатлэ я спустя двадцать лет встретил Ландезена, когда он уже под именем Гартинга занимал пост официального представителя русской полиции за границей. Он был седой, а я оставил его брюнетом. Он, очевидно, меня узнал и предполагал, что я его также узнал, и ждал нападения.

Как русское правительство заинтересовалось судом над парижскими эмигрантами, Кашинцевым (Ананьевым)[33] и другими, это видно из рассказа французского сенатора Э. Додэ в его воспоминаниях.

«В 1890 г. нам, — пишет Додэ, — представился случай оказать русскому правительству очень важные услуги. Министр внутренних дел Констан через русских и французских агентов узнал, что русские революционеры в Париже заняты приготовлением взрывчатых веществ и намерены (?) везти их в Россию. Русский посланник А. П. Моренгейм потребовал, чтобы французское правительство приняло меры и не допустило ввоза динамита в Россию Рибо, Фрейсинэ и Констан, которым он сообщал свои опасения, взяли на себя самые формальные обязательства в том, что они помешают революционерам вывезти динамит из Парижа».

21 мая Констан собрался ехать с Карно на юг Франции. Моренгейм, перепуганный тем, что без Констана «нигилисты»[34], наверное, скроются, бросается к нему на вокзал. Моренгейм едет на вокзал и там застает Констана, который его и

успокаивает, что «меры» приняты. Моренгейм стал собираться уезжать, но Констан обратил его внимание на то, что свидание их замечено журналистами, и, чтобы избежать толков, он ему посоветовал дождаться Карно. Через минуту Карно при входе в вагон простился с русским посланником и был очень польщен любезностью Моренгейма, истинной причины которой он не понимал, и «горячо его благодарил за честь».

Александр III, когда узнал обо всем происшедшем в Париже, выразил свою глубокую признательность французскому правительству за его содействие в борьбе с народовольцами.

«Император, — говорит Додэ, — высказал свою благодарность французскому посланнику Лябулэ в таких выражениях, которые ясно говорили об ее искренности и глубине».

Александр III, который готов был в 1886 г. разорвать дипломатические сношения с Францией вследствие того, что французское правительство амнистировало Кропоткина[35] и выпустило его из тюрьмы, почти сразу переменил свою внешнюю политику, и арест русских революционеров в Париже, по словам Додэ, имел большое значение в истории франко-русских сношений.

Глава третья

Попытка русской полиции арестовать меня в Константинополе — Приезд в Лондон — Провокатор Бейтнер

В то время, когда в Париже происходил суд над арестованными эмигрантами по делу о динамитной мастерской, я жил в Болгарии.

Вначале никто меня здесь не беспокоил, но несколько позднее полиция Стамбулова стала ко мне очень внимательна и чинила столько разных затруднений, что я должен был скрыться из Болгарии.

Через Константинополь я благополучно приехал снова в Румынию и оттуда решил ехать в Лондон. Единственный путь, каким я мог поехать во Францию, — это было ехать на английском торговом пароходе через Галац, Константинополь, Гибралтар — в Лондон.

Когда я садился на пароход в Галаце, местные эмигранты привели ко мне все того же фельдшера Федорова из Сулина. Разумеется, он тогда же донес русским сыщикам, на каком пароходе и куда я еду.

Наш пароход в Константинополе должен был стоять целый день. Капитан, матросы, все воспользовались случаем и поехали осматривать Константинополь и звали туда меня.

Я не решился сойти на берег. Я знал, что там турецкая полиция могла без всякого затруднения выдать меня в Россию.

Прошел час, два. На нашем пароходе появились книгоноши, предлагавшие мне по дешевой цене купить книги на берегу. К нам подъезжали турецкие лодки, предлагавшие мне покататься по чудному Босфору. Но я отказывался от всех этих приглашений и только с парохода любовался видом Константинополя в прекрасный, теплый, почти летний день, хотя это было в ноябре-декабре. Как раз в такое же время, но при совершенно другой обстановке через двадцать с лишком лет мне пришлось еще раз несколько дней любоваться Константинополем. Это было после эвакуации Крыма, с борта русского парохода[36]!

Затем я увидел, что наш пароход окружен десятью-двенадцатью лодками и в них сидели турки в военной форме, а вместе с ними было несколько штатских, по-видимому, русских. Затем мимо нашего парохода медленно прошел другой небольшой пароход, на нем была группа штатских и военных — человек десять, и все они в бинокль смотрели на меня. Я понял, что дело что-то неладно. В то же время с одной из лодок, окружавших наш пароход, к нам подъехал какой-то военный турок. Никого на палубе не было, и я спустил лест-

ницу. Турок ушел в каюту помощника капитана, а я пошел в свою комнату. Через несколько минут ко мне пришел взволнованный, бледный помощник капитана — англичанин. Он сообщил мне, что турецкая полиция требует моей выдачи.

Я спросил, что же он хочет делать со мной? Он ответил мне, что это все зависит от капитана, а он на берегу.

Вскоре приехал на пароход, тоже взволнованный, капитан и сообщил, что на берегу ему предлагают десять тысяч франков за то, чтобы он ссадил меня в лодку. Капитан посмотрел на меня и с гордостью сказал:

— Я им ответил, что здесь, — он показал на пароход — Англия, и арестовать вас здесь никто не может!

Помолчав немного, он добавил:

— Я — джентльмен!

Он сейчас же записал меня матросом на пароходе, одел в матросскую форму и засадил в трюм, где лежали мешки с хлебом.

На пароход приходила целая комиссия от имени русских и турецких властей; она, очевидно, хотела видеть меня, но не нашла. Долго они спорили с капитаном, грозили, что не выпустят парохода из Константинополя, что будут в него стрелять, если он пойдет... Уговаривали, предлагали деньги, но упрямый капитан твердил:

— Здесь Англия! Не могу! Я — джентльмен! — и т. д.

Поздно вечером наш пароход однако отпустили, и только тогда капитан выпустил меня из трюма и позволил быть в каюте. Но около дверей каюты был приставлен матрос, ему было приказано не выпускать меня из каюты и ко мне никого не впускать.

Дело в том, что под предлогом осмотра ночных фонарей турецкая полиция поместила на пароходе какого-то своего человека, в высшей степени подозрительного на вид. Это был Бинт, агент Рачковского, как он мне об этом недавно расска-

зывал. А за нами, не отставая от нас, шел какой-то другой пароход. Капитан предполагал, что этому человеку дано было поручение выбросить меня в море, а нас обоих подобрали бы на пароход, следовавший за нами.

На следующее утро, в Дарданеллах, наш пароход снова задержали. Снова явились и русские, и турецкие власти и стали попеременно то просить, то угрожать, то подкупать капитана, чтобы он высадил меня к ним в лодку. Капитан вызвал местного английского консула и в его присутствии предложил составить протокол о задержании парохода.

Тогда, наконец, наш пароход оставили в покое, и его покинул также подозрительный субъект, посаженный к нам в Константинополе. Мы благополучно вышли в открытое море.

Когда мы приехали в Лондон, мы узнали, что наша история в Константинополе в Англии была уже известна из телеграмм и вызвала в печати и в обществе огромнейшую бучу.

Англичане, между ними были члены парламента, а затем члены русской колонии, среди них был Волховский[37] (Степняк[38] в то время был в Америке), дали в честь капитана обед и благодарили его за мое спасение.

Через несколько дней из Софии приехал мой хороший знакомый, русский эмигрант, инженер Луцкий[39]. По требованию русских властей турецкая полиция схватила его на улице и сейчас же на лодке доставила на русский пароход. Луцкий был увезен в Россию, но там его скоро освободили, потому что выяснилось, что он был выдан без всяких оснований, власти арестовали первого попавшегося им под руки эмигранта.

С приездом в Лондон для меня тогда началась самая глухая пора моей эмигрантской жизни.

Конец царствования Александра III был трудными годами для всех нас, русских, и в России и за границей. Реакция придавила всех. Не было ни активной революционной борьбы,

ни каких-нибудь серьезных общественных выступлений. Наступило время маленьких дел.

...В Лондоне в те годы у меня была еще одна роковая в моей жизни встреча. Истинное значение ее мы поняли только лет через семь-восемь.

В 1893 году в Цюрихе, в квартире студента Гранковского, я встретил молодого человека, сына предводителя нижегородского дворянства, Льва Бейтнера, бывшего гвардейского офицера, пажа, товарища молодого студента Кузнецов[40], сына нижегородского миллионера Аф. Аф. Кузнецова, кто потом был членом второй Государственной Думы. На следующий день Бейтнер должен был ехать в Россию по личному делу, но Гранковский и другие давали ему революционные поручения, между прочим, к этому Кузнецову. Сколько я помню, я тоже просил передать в Россию Кузнецову «Свободную Россию», и на словах сказать о необходимости активной революционной борьбы во имя умеренных политических требований.

Бейтнер уехал. У него в дороге была какая-то странная история, — его арестовали в Венгрии, — связанная как-то с Гранковским. В чем заключалась эта история — не помню, но мне вообще была непонятна тогда роль Гранковского и его знакомого, какого-то таинственного субъекта, жившего в Цюрихе, который в печати подписывался «Может быть, псевдоним». Оба они были в близких отношениях с Бейтнером. Побывши несколько месяцев в России, Бейтнер совершенно неожиданно приехал к нам в Лондон с молодой женой, сестрой Кузнецова, и поселился там.

Кроме меня, Бейтнеры близко сошлись тогда с Волховским, Чайковским[41] Лазаревым[42] и другими. Из Нижнего Новгорода они получали большие средства, жили довольно широко, помогали лондонским эмигрантам.

Иногда Бейтнер ездил с женой в Швейцарию, в Париж и везде у него среди эмигрантов были большие знакомства.

Как потом обнаружилось, Бейтнер был агент-провокатор и освещал эмигрантов, в том числе и нас. Он, по-видимому, был заагентурен очень молодым, вращаясь в кружках студенческой молодежи, и вначале не имел большого значения для сыска. Съездив в Россию и породнившись там с миллионером Кузнецовым, Бейтнер одно время, так сказать, сбежал от жандармов, но они его отыскали за границей и под угрозой разоблачения заставили служить, когда это ему и не было нужно.

Глава четвертая

Издание «Народовольца» — Письмо от Азефа

Александр III и Николай II[43] внимательно следили за всем, что делается в нашей эмиграции и, в частности, за всем тем, что касалось «Народовольца». В 1910 году я опубликовал так называемый «Царский Листок» — собрание еженедельных докладов министра внутренних дел Николаю II за 90-е годы. Там целые страницы посвящены изложению полицейской слежки в Лондоне, подробно изложена история издания «Народовольца» и мой суд по поводу его.

...«Народоволец» выходил редко. Вышло всего три номера — в начале года, в августе и ноябре.

...Политическая программа в «Народовольце» была мной выставлена, по обыкновению, очень умеренная — требование конституции Конституция должна была быть дана самим правительством.

...Между первым и третьим номером «Народовольца» я смог побывать в Париже и в Швейцарии, списался с очень многими из эмигрантов.

...Отмечу здесь одно полученное мною письмо, на которое я в свое время не обратил особенного внимания.

Из Германии от Азефа было получено предложение распространять «Народоволец» и связать меня с революционны-

ми кружками в России. Азефа я знал очень мало. Я его до тех пор только раз, и то случайно, встретил в Цюрихе в 1893 году.

Указывая на него, один мой знакомый тогда сказал мне:

— Вот крупная сила, интересный человек, молодой, энергичный, он — наш!

— Вот грязное животное!— сказал мне другой.

Я не решился тогда познакомиться с Азефом, и вот почему и в 1897 году, во время издания «Народовольца», когда я с такой жаждой искал всюду поддержки, я даже не ответил на письмо Азефа.

Глава пятая

Мой арест в Лондоне — Суд — Осуждение на полтора года каторжных работ

16 декабря 1897 года, когда я выходил из главного зала Британского музея в вестибюль, я был там арестован главным инспектором английской сыскной полиции Мельвилем и отправлен в тюрьму.

Через два часа меня вызвали из тюрьмы в предварительный суд и там предъявили обвинение в возбуждении к убийству «лица, не состоящего в подданстве ее величества», т е Николая II. Задача этого суда заключалась в том, чтобы решить, можно ли мое дело передать суду присяжных или нет. В этот суд меня приводили раз пять.

На другой — третий день после ареста меня вызвали на свидание. Через две решетки я увидел Волховского.

...У меня не было средств вести процесс, всегда дорого стоющий в Англии. Но благодаря Волховскому, была устроена блестящая защита, были приглашены солистер и адвокат Кольридж, и устроены все мои дела.

...По просьбе русского правительства разбирательство моего дела, раз назначенное, было отложено на месяц «до прибытия свидетелей» из России. Через месяц свидетели

приехали, но это были исключительно русские сыщики, и привезли они с собой документы, по большей части выписки из жандармских архивов. Прокурор на суде не счел для себя полезным вызывать этих свидетелей и делать ссылки на их документы.

Суд состоялся 11 февраля 1898 года. Обвинение против меня сводилось исключительно к изданию «Народовольца».

Свидетели — по большей части английские сыщики — установили, что «Народоволец» издавался мной, статьи подписаны моим именем, что я его продавал и рассылал по почте.

Зал суда был полон публики. Было много адвокатов и представителей печати. Полиция сильно опасалась демонстраций на суде и поэтому заранее постаралась занять своими людьми места, предназначенные для публики. Под предлогом недостатка мест русских не пустили даже на галерею, предназначенную для публики, и в зал заседаний только вместе с защитником прошло несколько русских: Волховский, Кропоткин, Чайковский и др.

...Приговором суда я был признан виновным, но в виду того, что дело было чисто литературное, и я не был связан ни с какой партией и не был замешан ни в каком покушении, то я был приговорен, как этого ожидали, не к десяти годам каторжных работ, а к полутора.

...На следующий день после процесса английские газеты дали полный отчет о процессе.

Глава шестая

В английской тюрьме — Ее режим — Безвыходное положение» — Воспоминание о ландезенском деле — Каторжные работы — Тюремные свидания — Провокатор Бейтнер

Кончился мой суд по делу «Народовольца».

В тот же самый вечер меня отправили из тюрьмы в Бовстрит, находившейся при здании суда, в Пентенвильскую

каторжную тюрьму. Туда меня привезли в двенадцатом часу ночи.

Меня заставили принять ванну. Я снял свое платье, вымылся и меня выпустили на другую сторону ванной комнаты. Здесь меня нарядили в арестантский костюм: что-то вроде желтого пиджака, желтые штаны, желтую арестантскую шапочку. Весь костюм и белье были разрисованы черными стрелками.

Меня отвели в отдельную камеру. Там я нашел тычком стоявшие три доски. На них перекинуты были простыня, тонкое, как лист бумаги, одеяло и тонкий мочальный матрац. Тут же была небольшая мочальная подушка. К стене привинчен железный столик, полка, на ней железная кружка, тарелка, деревянная ложка, солонка. На столике лежали Евангелие и Библия. В камере имелись табурет и знаменитая параша. Вот и все, что было в камере, в которой мне предстояло просидеть полтора года. Камера очень небольшая и освещалась окном под потолком с двойной или тройной решеткой. На стене висели тюремные правила, угрожающие наказаниями.

Меня заставили сейчас же лечь спать, но предварительно я должен был на ночь вынести в коридор матрац.

Я провертелся всю ночь на голых досках, не сомкнув глаз. В голове было только одно: полтора года, пятьсот с лишком дней каторжных работ!

Утром начался мой первый тюремный каторжный день.

Звонок. Быстро нужно было встать, вынести парашу и внести обратно из коридора в камеру матрац, повесить его снова на досках, чтобы весь день смотреть на него, а на ночь снова выносить его в коридор. Спустя несколько месяцев мне стали давать матрац на ночь в камеру два раза в неделю, а через полгода я имел матрац уже каждый день. Меня его лишали только, когда я не успевал связать достаточное количество чулок.

Через несколько минут мне принесли чашку какой-то каши. Потом гуськом все арестованные молча шли в часовню на молитву. Дорогой нельзя было оглядываться по сторонам.

Первый мой день прошел без каторжных работ. Раз десять выводили меня из камеры в контору для допросов, для переспросов, для освидетельствования у доктора и т. д. Каждый раз самым тщательным образом производили обыск, ощупывали меня с ног до головы. Стоять приходилось руки по швам. Распоряжения делались по большей части молча, выразительными жестами или выкриком каких-нибудь приказов. Я потерял свою фамилию, превратился в какой-то номер А4 42, то есть корпус А, четвертый этаж, 42-й номер. Для всех я стал только вещью. Не смел ни рассуждать, ни говорить и только был обязан исполнять предписания.

На стенах, на столе, на стульях, на чайной кружке, на ложке, на Евангелии — словом, всюду, как и на костюмах, были нарисованы черные стрелки, напоминающие нам, что мы — каторжане. Долго не мог я помириться с этими стрелками, но через два-три месяца к ним привык. Когда впоследствии я был освобожден из тюрьмы, я долго еще во сне видел себя и всех вообще не иначе, как в костюмах с этими стрелками.

Мне бесчисленное количество раз повторяли о взысканиях и наказаниях. Никто из начальства даже не интересовался мной лично, не знал, по какому я делу попал. Я для них был только арестант, которого надо запугать и держать в черном теле, ибо иначе с ним ничего не поделаешь. Все арестанты, кто меня брил, стриг, кто заставлял носить парашу, носить работу, тоже на каждом шагу давали мне понять, что я попал в такие тюремные тиски, в которых нет места никакой личной воле. Сидя рядом с десятками вновь принимаемых арестантов, наблюдая их, слыша их несколько отрывочных фраз, видя грубое, нечеловеческое обращение с ними тюремщиков-профессионалов, я на основании всего этого сразу себе пред-

ставил и, как потом оказалось, представил себе верно, что представляет собою жизнь изо дня в день в английской тюрьме.

Когда вечером я очутился один в камере, мне дали ужин — чашку овсянки и кусок хлеба — и заявили, что через четверть часа я должен лечь спать и не имею права вставать. Мне предстояло подчиняться этому режиму в течение 500 с чем-то дней! Тогда я точно высчитал, сколько именно дней мне надо было провести в этих условиях. Мне, который прожил до этого за границей лет десять на свободе, как политический деятель и журналист, это было как-то непонятно. Я не мог себе представить, чтоб я, Бурцев, привыкший жить жизнью среднего интеллигентного человека, физически мог просуществовать в таких условиях целых 18 месяцев! Я одно повторял: этого не может быть! Это абсурд! Я думал не про то, что не смогу вынести этот режим, но что этого просто не может быть. Жить такой жизнью в продолжение 18 месяцев мне казалось таким же абсурдом, как если бы мне предложили переплыть океан или прыгнуть на вершину какой-нибудь горы. Не тяжесть перспектив и не тяжесть оскорблений, которые мне приходилось бы переживать, смущали меня, а именно эта нелепость предстоящей мне жизни в тюрьме.

Снова пришлось мне лечь на голые доски, и я чувствовал, что снова проведу ночь напролет и ни на один миг не сомкну глаз. Я знал, что мне нельзя вставать и ходить по камере, что я так любил часами делать в Петропавловской крепости. У меня, как у новичка, особенно часто открывался глазок в двери, и тюремщики смотрели, что я делаю. Я вынужден был продолжать лежать, но никто мне не мешал совершать 80 тысяч верст вокруг самого себя.

Я думал, мечтал, рисовал себе различные картины будущего, но все мои эти рассуждения сводились к тому, что такая жизнь немыслима!

Прошел час, два, три, четыре. Тюремные часы выбивали каждые четверть часа. На меня не напало даже забытье. Открытыми глазами я смотрел во тьму, и только маленький лунный свет проникал из высокого под самым потолком окна.

Но вот как будто неожиданно для меня все стало сразу ясно... Многое из того, о чем я в этот день и за эту ночь думал, сформировалось в полную картину, и я увидел просвет в моем положении...

Дело вот в чем.

Я вспомнил свой разговор с уголовным арестантом на одном из сибирских этапов, лет 10–12 перед тем. Несколько его фраз как-то помогли мне формулировать мою мысль ясно. Мне даже казалось странным, как это я еще утром в этот день или ночью, когда ложился, не понимал, что никакой безвыходности в моем положении нет.

Мой знакомый сибирский арестант, рассказывая о своих и чужих тюремных переживаниях, объяснил мне, как арестанты иногда кончали с собой. Они брали полотенце, мочили его в воде, особым образом устраивали узел, и, по словам этого арестанта, спасения от такой петли не было.

Припомнив этот рассказ, я улучил момент, когда тюремный стражник посмотрел в мой глазок, быстро на цыпочках встал, взял полотенце, намочил его, сделал, накрывшись одеялом, старательно петлю так, как мне это показывал уголовный арестант. Затем прицепил петлю к железной полке, положил в петлю свою шею и повис. Я почувствовал, что начинаю забываться. Меня охватило какое-то чувство необычайной радости, как будто я чего-то достиг такого, о чем мечтал давным-давно...

Я сознавал, что еще несколько секунд — и тот какой-то особый свет, который уже блистал в моих глазах, не прекратится никогда и что никакие силы не спасли бы меня от этой мокрой петли, которая, как щупальцами, охватила мою шею.

Я задыхался.

В глазах у меня было то совсем темно, то как будто сыпались искры.

В эту минуту я сделал усилие, ногами уперся в стену и поднялся.

Я вскочил на ноги, снял приготовленную петлю и быстро лег под одеяло.

Я весь дрожал от волнения.

В эти минуты я чувствовал себя едва ли не счастливейшим человеком в мире.

Я почему-то вспомнил тогда чьи-то слова: «Ничего с нами не поделаешь!» Перефразируя их, я мысленно себе повторял: «Ничего со мной не поделаешь! Мне стало ясно: что бы со мной ни случилось впредь, какие бы тяжелые минуты мне ни приходилось переживать, у меня есть один верный выход.

— Ничего со мной не поделаешь! — повторял я себе.

Я хотел слышать эти звуки, и вот, лежа на досках, закрывшись одеялом, я десятки раз вслух шепотом, чтобы не слышали в коридоре, повторял себе:

— Ничего со мной не поделаешь!

Эта ночь осталась мне памятной не только все мое тюремное заключение, но и всю последующую жизнь.

В тюрьме мне приходилось переживать тяжелые минуты, особенно во время разных обысков, во время издевательств тюремщиков, но что бы вокруг меня ни происходило, я всегда старался оторваться от этих впечатлений. Не слушая того, что мне говорили и, не обращая внимания на то, что они со мной делали, я мысленно повторял себе: «Ничего со мной не поделаешь!» Я понимал, что у меня есть выход. Какие бы тяжелые обстоятельства ни были, я, зная себя, был уверен, что в любое время я найду радикальный выход из всякого положения и никакого безвыходного положения у меня никогда не будет...

В последующие годы мне много раз приходилось переживать тяжелые события. Но как бы они ни были страшны, я, вспоминая памятную ночь в английской тюрьме, всегда неизменно повторял: «Ничего со мной не поделаешь!» С тех пор эти слова стали моим каким-то талисманом на всю мою жизнь.

Нечто подобное тому, что тогда было со мной в английской тюрьме, я однажды переживал и раньше в связи с делом провокатора Ландезена.

Это было в 1890 году. Я ехал из Румынии в Сербию на пароходе по Дунаю. Был вечер. Стояла теплая, чудная погода. Берега Дуная близ Железных ворот представляют собою дивную картину.

Я ехал один. Несколько посторонних лиц, полутуристов, не скрывали своего восторженного состояния при виде этой чудной картины природы.

Я ходил по палубе парохода и с глубоким чувством молодости тоже любовался этим необыкновенно красивым зрелищем. Никто не обращал на меня никакого внимания. Я старался держаться в стороне от всех, и никто не мог бы догадаться о том, что происходило в моей душе в то время. А происходило тогда вот что.

Незадолго перед тем, как я поехал в Сербию, я получил точные сведения, что мои товарищи, арестованные в Париже и в России, явились жертвой предательства втершегося в нашу среду провокатора Ландезена-Гартинга.

Я совершенно случайно остался на воле.

Ощущение какой-то нравственной раздавленности и оскорбления в самых интимных и дорогих чувствах заставляло меня переживать тогда чудовищное состояние. Я вспоминал слова и клятвы предателя. Понял его змеиную дружбу. Только оставшись один, в чудной обстановке близ Железных ворот, я смог вполне понять весь ужас. Это было первым политическим несчастьем в моей жизни. Оно мне казалось

непереживаемым… Мне казалось, что я попал в... «безвыходное положение».

И вот, нервно прохаживаясь по палубе, представляя себе все возможные перспективы последствий обрушившегося несчастья, я ясно увидел для себя радикальный выход из этого положения...

Мы ехали в такой обстановке, что в любой момент я мог бы броситься в Дунай, и ни о каком спасении не могло бы уже быть речи...

Я подходил к борту парохода; один миг — и навсегда кончилось бы мое «безвыходное положение». Этот миг был так легок... Но я как-то мгновенно почувствовал, что это было бы с моей стороны каким-то позорным дезертирством в борьбе, и я переломил себя... Я решил, что сил должно хватить пережить обрушившееся на меня несчастье. Я отказался от только что принятого решения. Мне стало ясным, что в будущей борьбе я найду совсем иной выход из настоящего, так называемого безвыходного положения.

Со второго дня моего пребывания в английской каторжной тюрьме для меня начались ежедневные принудительные работы. Сначала приходилось разбирать нитки и рассучивать паклю. Затем в продолжение недели меня обучали вязанию на спицах чулок. С трудом, но вязать чулки все же научился. Сам делал и пятки. Приходилось и вертеть колесо в камере. Через год стали давать несколько часов в день работу на воздухе: приходилось по большей части бить камни.

Припоминаю один хорошо запечатлевшийся у меня в памяти эпизод из моей тогдашней тюремной жизни.

В большой зале нас, осужденных в каторжные работы, сидело человек пятьдесят, по три человека в ряд. Нас обучали вязанию чулок. Все были в тюремных желтых костюмах с черными стрелками. В каждом ряду посередине сидел «учитель», а по бокам у него двое обучаемых заключенных. Работа велась под бдительным надзором стражников, следивших,

чтобы арестанты не разговаривали между собой. Мне приходилось сидеть рядом с моим учителем, французом, профессиональным вором-рецидивистом.

Пользуясь тем, что англичане-стражники не понимали нас, мы иногда обменивались отдельными фразами, не имевшими отношения к нашей работе. Это были очень редкие моменты за все мое пребывание в тюрьме, когда я с кем-нибудь мог обменяться хотя бы отрывочными фразами.

Однажды мимо нас «прогоняли» — именно прогоняли, с выкрикиванием разных угроз, с толчками — толпу в пятьдесят-шестьдесят мальчиков, тоже в таких же арестантских костюмах, в каких были и мы. Большинству среди них было по 10-12 лет. Мальчуганы смеялись, толкали друг друга и, видимо, плохо понимали, что такое тюрьма. На меня эта толпа мальчиков произвела ошеломляющее впечатление. Я даже не понимал, как эти дети могли попасть в тюрьму. Показывая своему «учителю» на спицы и как бы спрашивая его, как вязать, я тихонько спросил его:

— Что это такое?

Француз, тоже как будто показывая мне, как надо вязать, с сознанием собственного достоинства, ответил мне:

— Это сволочь, недостойная сидеть в тюрьме!

Оказывается, в Англии засаживают детей 10–12 лет в каторжные тюрьмы иногда на 5–10 дней за разного рода уличное воровство. Их засаживают в тюрьму, должно быть, для того, чтобы они с детских лет... свыкались с тюремной обстановкой!

В два-три месяца мне давали одно свидание. На первое свидание ко мне пришли мой добрый приятель эмигрант Семен Каган с женой и... Бейтнер. Свидание продолжалось всего только 20 минут. Торопясь, я задавал им вопросы о том, что делается на воле. Меня интересовали последствия моего процесса и как к нему отнеслись. Спросил я и о том, в каком положении находится дело Дрейфуса[44]. В первые три месяца

я не имел с воли никаких известий, кроме кратких официальных писем.

Пришедшие ко мне на свидание едва могли мне отвечать. Они сами были крайне взволнованы. Их ужасно поразили и отделявшие нас решетки, одна от другой на расстоянии чуть ли не сажени, и мой арестантский костюм, и моя бритая голова, и вся вообще обстановка тюремного свидания. Они едва сдерживали свое волнение и даже плакали. Я их вышучивал за это и в то же самое время старался их ободрить. Потрясен был тогда и Бейтнер. Тогда я, конечно, не мог понять, почему он был более всех взволнован. Это я понял позднее. Когда он приходил ко мне в английскую тюрьму на свидание и смотрел на меня через две решетки, он, конечно, не мог не сознавать, что моя тюрьма в известной степени — дело его рук, и он знал, что в этот же день ему нужно будет делать по начальству доклад о том, что он видел и слышал на этом свидании... Обстановка тогдашнего нашего свидания не могла не потрясти даже предателя.

Я и раньше не раз замечал какую-то особенную борьбу в Бейтнере, когда он говорил со мной. Но мне никогда не приходило в голову объяснять это тем, что он — провокатор. В последующие годы, когда я уехал в Россию, он сделал довольно откровенную попытку свести моего друга эмигранта Ж. с охранниками, якобы для литературной работы. Но Ж. это понял и разоблачил его. Бейтнер должен был скрыться. Года через два, брошенный и охранниками, и своей семьей, он умер где-то в Дании.

Во время издания «Народовольца» департамент полиции мог знать через Бейтнера, — правда, мы этого и не скрывали, — где и когда издавался «Народоволец», а когда компания Рачковского приехала в Лондон подготавливать мой процесс, то Бейтнер бывал на их квартире и давал им советы, но в это время ко мне он не показывался.

Но провокация и в данном случае осталась провокацией.

Глава седьмая

Освобождение из английской тюрьмы — 1-й номер «Былого»

Летом 1899 года кончилось мое полуторагодичное заключение в английской тюрьме. Из Англии я выслан не был.

Оставаясь в Лондоне, я вскоре приступил к изданию исторического сборника «Былое».

...Я выпустил первый номер «Былого». По выражению одного из тогдашних отчетов департамента полиции, «Былое» было еще «хуже» «Народовольца». Действительно, в «Былом» еще ярче, чем в «Народовольце», были подчеркнуты главные его идеи, и еще яснее было сказано, что если правительство не вступит на путь либеральных уступок, то в России не может не возникнуть террористического движения.

...Перемена в настроении революционеров за границей и в России за последние три-четыре года была вообще очень резкая. Прежний пессимизм явно сменился общим подъемом.

...В половине 1901 года в «Вестнике Русской Революции»[45], а затем в «Революционной России»[46] эсэры[47] уже стали защищать предпринимаемый партией систематический, строго организованный террор. Их в этом поддержала польская революционная печать. Такие же голоса раздались в эсдекской «Свободе»[48] и в «Накануне»[49] (статьи Оленина-Чернова[50] и Галина[51]).

Но кто в то время решительно восстал против террора, так это был Ленин. В статье «Политический террор» в «Искре»[52] он резко, по-ленински, напал на Кричевского[53] за его статью, где тот приветствовал выстрел Карповича[54]. Ленин писал, что «террор должен быть отвращен активной работой эсдеков над созданием действительно революционного и сознательного политического движения пролетариата». Ленинцы признавали вообще нецелесообразным террор и

тогда же стали готовиться не к конституционным завоеваниям, а к революционной диктатуре пролетариата — к тому, что было ими сделано в России в 1917 году.

Подъем тогдашнего общего революционного настроения в русском обществе Горький выразил в своей «Песне о соколе». Она в то время облетела весь читающий русский мир и выражала общее настроение. Горький[55] писал:

Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!
Безумству храбрых поем мы песню!

...В начале девяностых годов усилившееся эсдековское движение обратило было на себя особенное внимание в правительственных сферах.

Среди эсдеков, занимавшихся пропагандой среди рабочих, были произведены массовые аресты. В тюрьме очутились Ленин, Мартов[56] и все их ближайшие товарищи. Их ожидала административная высылка на большие сроки в отдаленные места Сибири.

...Охранники придавали развитию рабочего движения в России огромное значение. С благословения правительства в то время Зубатов[57] в продолжение многих лет систематически помогал развиваться независимому еврейскому рабочему[58] движению и так называемому гапоновскому движению[59]. Он не только не арестовывал известных пропагандистов среди еврейских рабочих, как М. Вильбушевич[60], Шаевич[61] и др., а сам предоставлял им возможность принимать деятельное участие в рабочем движении и придавать ему иногда общерусское значение. Когда Зубатов арестовал Гершуни[62] то он его вскоре выпустил на свободу, потому что пришел к убеждению, что Гершуни будет принимать участие не в эсэровском движении, а в рабочем.

Незадолго до приезда Ленина за границу из ссылки бежал литератор, известный эсдек, Маховец (Акимов[63]), уже

сыгравший значительную роль в организации рабочего движения. В Петербурге Маховец пришел прямо на эсдековскую конспиративную квартиру к Гуровичу[64], который, как потом оказалось, был одним из выдающихся провокаторов. Гурович знал, что Маховец едет за границу издавать там эсдековский орган специально для обслуживания рабочего движения. Департамент полиции, по настоянию того же Зубатова, тоже беспрепятственно отпустил Маховца за границу. Охранникам казалось, что такой своей тактикой они одновременно достигают двух целей: в противовес политическо-террористическому движению создают специально профессионально-рабочее движение, и в то же самое время такие провокаторы, как Гурович, будут от связанного с ним Маховца получать из-за границы нужные сведения.

Зубатов всегда выставлял себя убежденным врагом революционно-политического движения, главным образом террористического, и в развитии рабочего движения видел средство для борьбы с революционерами. Эту свою политику Зубатов объяснял своим сочувствием рабочему движению и на нее часто ссылался как бы в оправдание своего ренегатства и предательства.

Глава восьмая

4-й № «Народовольца» — Мой арест в Женеве и высылка из Швейцарии — Постановление о высылке из Франции — Протест Жореса — Попытка арестовать меня в Анемасе и мой отъезд в Лондон

В 1903 г. я жил в Женеве и там издал 4-й номер «Народовольца».

...Пользуясь этим 4-м номером «Народовольца», русское правительство решило добиться в Швейцарии моего заключения в тюрьму.

Как в Лондоне, в Женеве был составлен полицейский заговор. Закупили кое-кого из швейцарских властей, и меня

арестовали, как анархиста, призывающего к террору. На допросе судебный следователь написал против моей фамилии слово «анархист». Я протестовал против этого и говорил, что я за политическую свободу, за Конституцию, за республику, т. е. за то, против чего борются анархисты.

Судебный следователь ответил мне:

— Да, Вы правы, Вы не анархист, мы это знаем, но, — добавил он, смеясь после некоторого молчания, — Вы хуже анархиста!

В женевской тюрьме меня продержали около месяца и без суда, административным порядком, выслали меня во Францию, в соседний французский городок Сен-Жюльен.

В самом начале 1904 г. я из Сен-Жюльена уехал в Париж и здесь стал продолжать издание «Былого»[65].

Месяца через два-три моего спокойного пребывания в Париже меня как-то пригласили в полицию и там предложили подписать бумагу о том, что я обязан выехать из Франции в течение двух дней. Я подписал только то, что читал эту бумагу, и сейчас же, это было часов в 9 вечера, отправился к известному эсэру И. А. Рубановичу[66], который тогда был, так сказать, главным ходатаем по русским эмигрантским делам, когда приходилось защищаться от нападений русского правительства.

Ему многие были обязаны, когда по требованию русского правительства их высылали или привлекали к суду. Прекрасный оратор, великолепно владевший французским языком, он умел производить огромное впечатление в своих выступлениях на судах и держался с необыкновенным достоинством в переговорах с властями. Ему удалось провести много блестящих дел не только во Франции, но в Италии, Бельгии, Швейцарии, имевших общеевропейское значение.

Когда я объяснил Рубановичу, с которым был в хороших отношениях, в чем дело, он меня спросил, хочу ли я мирно уладить это дело — теперь же уехать из Франции и потом

через некоторое время добиться возвращения, или хочу рискнуть защищаться и идти до конца навстречу всем последствиям отказа уехать. Я, конечно, сказал, что готов самым резким образом поставить свою защиту и довести дело до конца. Мы тотчас же отправились в редакцию «Л'Юманите» переговорить прежде всего с Жоресом[67]...

На следующий день Жорес был у председателя совета министров Комба и предупредил его, что социалистические депутаты внесут в парламент запрос, если я буду выслан из Франции.

Когда из полиции на другой день от меня снова потребовали, чтобы я немедленно уехал из Франции, я категорически заявил, что не поеду и что, если желают, то могут меня арестовать. Но арестовывать меня полиция не хотела, и сама мне предложила просить об отсрочке месяца на два для устройства своих дел. Но, по совету Жореса, я отказался это сделать.

...Французские социалисты по поводу моего дела начали вести целую кампанию вообще против русского правительства. В случае приведения в исполнение моей высылки предстояла, очевидно, еще большая кампания.

Попытка выслать меня из Франции осложнялась еще следующим обстоятельством.

В это время правительство Комба проводило свой знаменитый антиклерикальный закон. Он мог пройти в палате только при поддержке Жореса и его партии. Достаточно было Жоресу и его товарищам по какому-нибудь вопросу вотировать против правительства — и оно бы пало, а вместе с тем был бы провален столько лет подготовлявшийся закон против конгрегаций. Вот почему, между прочим, французское правительство и не решилось настаивать на моей высылке.

...Я спокойно продолжал жить в Париже. К лету я уехал в Анемас, французский городок, в получасе ходьбы от Женевы.

...В самом начале августа — в это время парламент в Париже был уже распущен, а закон о конгрегациях уже про-

шел, — я случайно узнал, что в местной анемасской полиции был получен приказ из Парижа о моем аресте. Оказывается, французское правительство под давлением русского решилось, воспользовавшись летним затишьем, привести в исполнение свое решение о моей высылке.

Я уже видел полицию, которая шла в наш дом, но вовремя успел скрыться в горы через Салев. Меня продолжали искать в окрестностях Анемаса, а я пешком отправился в Париж. Садился только на маленьких станциях и снова высаживался, подъезжая к большим городам. Благополучно прибыл в Париж и несколько дней скрывался там. Я знал, что полиция меня ищет. Я решил уехать тайно в Англию и там переждать глухое каникулярное время и вернуться во Францию после того, как будет открыт парламент.

Вскоре после убийства Плеве[68] в России началась так называемая весна».

Преемником Плеве явился Святополк-Мирский[69]. Я был уверен, что он — не Плеве и ни в коем случае не будет настаивать перед французским правительством на требовании, сделанном по личному приказу Плеве незадолго до его смерти, о моей высылке из Франции.

...Когда осенью снова собрался французский парламент, я вернулся в Париж. Здесь я опять стал выступать во французской печати и издавал «Былое». Французская полиция меня больше не тревожила, и с тех пор никто никогда не напоминал мне о существовании постановления о моей высылке, хотя приказ о ней никогда не был аннулирован.

Глава девятая

«Весна» в России — Мой отъезд с чужим паспортом в Россию

С 1902–1905 гг. в России гремела «Боевая Организация»[70] партии эсэров. Имена Карповича, Балмашева[71], Гершуни, Каляева[72], Сазонова[73] были у всех на устах. Террористические

удары встречались во всех слоях общества с энтузиазмом, и они имели не только русское, но и общеевропейское значение.

...Я не верил в целесообразность эсэровских планов касательно народных революционных движений, при которых политический террор играл бы служебную роль.

Вот почему до убийства Плеве я был защитником «Боевой Организации» эсэров и только требовал систематичности в ее деятельности и угроз лично по отношению к царю до тех пор, пока правительство не откажется от тогдашней его реакции.

После же убийства Плеве, когда началась «весна», я стал настаивать на том, что необходимо — быть может, даже и не распуская «Боевой Организации» — обратиться к правительству с предложением перемирия.

...Летом 1905 г. появились первые слухи об организации Государственной Думы. В обществе было сильное оживление.

Тогда я стал еще с большей решимостью настаивать на том, что террористы должны начать переговоры с правительством.

...В августе, сентябре, октябре в России происходили события огромной важности. С каждым днем во мне возрастала уверенность, что старая Россия умирает и нарождается новая Россия, несмотря на все упрямство власти.

События половины октября 1905 года доходили до нас, за границу, урывками. Телеграф работал неисправно. Наконец был получен по телеграфу текст манифеста 17 октября[74]. Судя по ходу событий, я его ждал. Через час я уже сложил свои вещи и пошел прощаться с моими друзьями, чтобы в тот же день выехать в Россию.

...Я знал, что на границе меня пропустить не могли, если бы я явился под своим именем. Ареста я не боялся, но арест для меня был бы более выгоден в Петербурге, чем на границе. Поэтому я взял чужой паспорт и с ним поехал в Россию через ст. Вержболово.

В Вержболове на вокзале было необыкновенное оживление. Там, на границе, отразилась, конечно, вся та нервная жизнь, которая в этот момент охватила и Петербург, и всю Россию. В общей суматохе я проехал благополучно и на следующий день поздно вечером был в Петербурге с чужим паспортом в кармане.

Итак, я — снова на родине после 15 лет эмиграции!

Глава десятая

В Петербурге снова под своим именем

Прошло несколько дней. Я перевидал много знакомых, с кем условился на случай своего ареста насчет своих дел, кому надо — выяснил мою политическую позицию и решил легализироваться, т. е. перестать скрываться, не прописываясь. Кроме одного-двух человек, не было никого, кто бы одобрял это мое решение. Наоборот, мне предлагали паспорта, деньги и убеждали, пока не выяснятся обстоятельства, снова уехать или за границу или, по крайней мере, в Финляндию. Только П. Б. Струве[75] говорил, что уезжать не надо, и вообще одобрял мой приезд в Россию.

И вот, через несколько дней после моего приезда, захватив с собой вещи, я поздно вечером пришел в Балабинскую гостиницу близ Николаевского вокзала, занял номер и заказал себе самовар. Когда мне его принесли, коридорный попросил паспорт.

Я ему ответил, что я — эмигрант, только что приехавший из-за границы, и что у меня паспорта нет. Коридорный, кому, очевидно, таких ответов никогда не приходилось слышать, выразил крайнее недоумение.

В гостинице я пробыл до 10 часов утра. Полиция не приходила меня арестовывать. Из гостиницы я вышел на Невский проспект и сейчас же увидел за собой усиленную слежку. На одной из улиц я завернул за угол, а затем быстро возвратился

назад, так, чтобы лицом к лицу встретиться со следовавшими за мной сыщиками. Я подошел к одному из них и сказал: «Мерзавец!» Он отошел от меня, не сказав ничего.

Слежки за собой я в этот день более не видел.

Целых полтора-два месяца я продолжал жить в той же гостинице без паспорта.

Однажды утром, спускаясь с лестницы, я встретил околоточного надзирателя. Он очень вежливо сказал мне:

— Ведь у Вас нет паспорта, господин Бурцев?

Смеясь, я ему ответил, что я не торговый человек, а литератор и что паспорта мне не нужно, что со времени побега из Сибири у меня не было паспорта. Он возразил мне на это, что в России жить без паспорта нельзя и что мне необходимо выправить паспорт. Тогда я сказал ему:

— Так выдайте мне паспорт!

— А когда Вы можете прийти к нам?— спросил он.

Я ему ответил:

— Хоть теперь же!

И мы вместе пошли в участок. Там я продиктовал ему сведения о себе, и он выдал мне паспорт. Он понимал, что выдает паспорт под мою диктовку, так сказать, «на веру», без всяких документов. Он запнулся только в том параграфе, где надо было ответить на вопрос, холост я или женат. Я ему продиктовал: холост. Он несколько смущенно сказал:

— Так как же я могу Вам выдать такого рода удостоверение? Ведь всяко бывает... Вопрос деликатный...

Подумав, он написал: «Заявил, что холост».

По этому паспорту я потом продолжал жить в Петербурге и по нему же летом того же года получил заграничный паспорт.

...Во главе правительства в начале 1906 г. стоял Витте[76]. Как я потом узнал, он внимательно следил за моей деятельностью. В частном письме на его имя я снова повторил то же, о

чем я ему писал до революции в Париже. Я снова предлагал ему открыто выступить против продолжавшегося террористического движения и защищать честный легализм, если он уверен, что правительство откажется от белого террора, и открыто вступить на путь реформ. Ответа от Витте не было, но мне недавно рассказали, как внимательно отнесся тогда Витте к этому моему письму.

Глава одиннадцатая

Основание «Былого» в Петербурге — Моя переписка с Зубатовым — Встреча с Тихомировым — Борьба с провокацией

С моим приездом в Россию в конце 1905 г. для меня открылась впервые широкая возможность легальной литературной и издательской деятельности.

...Было решено начать издавать в Петербурге журнал «Былое».

...Благодаря «Былому» у меня завязались сношения с различными лицами, имевшими прямое отношение к департаменту полиции и к охранным отделениям. Одни, как Лопухин[77], приходили к нам явно, другие — тайно. Они давали мне чрезвычайно важные сведения и материалы.

В «Былом» была между прочим помещена статья М. Р. Гоца[78], где он сказал несколько жестких слов о Зубатове, с кем он юношей сталкивался как с революционером, и кто потом, как творец «зубатовщины», стоял во главе всего политического сыска.

Зубатов прислал письмо в редакцию «Былого» с разъяснениями и возражениями Гоцу. Я воспользовался этим письмом и завязал переписку с Зубатовым.

В своих письмах к Зубатову я, как редактор «Былого», убеждал его писать воспоминания и собирать материалы.

Конечно, через голову Зубатова я говорил со многими другими. Я знал, что мои к нему письма, во-первых, перехва-

тывает полиция, а затем, что он сам докладывает о них кому нужно. Говорят, наша переписка была даже напечатана в ограниченном количестве для руководящих сфер. Мне хотелось всех причастных к департаменту полиции приучить к тому, что я, как редактор «Былого», для изучения истории революционно-общественного движения имею право обращаться за материалами ко всем и даже к ним — нашим врагам. Мне это надо было для того, чтобы создать нужную мне атмосферу для предпринятой мной борьбы с департаментом полиции и для того, чтобы удобнее было собирать материалы для «Былого».

Из своих сношений с Зубатовым я, конечно, ни от кого не делал никакой тайны. Мои товарищи отговаривали меня от этой переписки и тем, что Зубатовы мне могут дать ложные сведения, и тем, что, поняв цель этой моей переписки, полиция меня арестует и т. д. Но эти предостережения меня не останавливали, и я продолжал свою переписку с Зубатовым.

В департаменте полиции вскоре заинтересовались моей перепиской с Зубатовым, и во Владимир к нему был послан специальный чиновник для его допроса. Зубатов этим был сильно встревожен, и ему тогда пришлось пережить немало неприятностей в связи с перепиской со мной. В своем последнем письме, когда я еще был в Петербурге, присланном с особыми предосторожностями, чтобы оно не попало жандармам, Зубатов умолял меня перестать писать ему. «Не губите меня и не губите себя», — писал он мне. В ответ на это я писал Зубатову:

«Вот какие, с божьей помощью, наступили теперь времена: Зубатов боится, чтобы Бурцев не скомпрометировал его своей перепиской!»

Но я не оставил в покое Зубатова и тогда, когда уехал за границу. Я и оттуда писал ему письма, и он мне иногда отвечал, хотя чуть не в каждом письме умолял прекратить пере-

писку, чтобы не губить его. Часть этой переписки, представляющей, несомненно, большой интерес, я еще до революции опубликовал в «Былом».

В 1916 году, приехав в Москву, я явился на квартиру к Зубатову, но не застал его дома. Видел, кажется, его сына и просил сказать ему, что хочу повидать и буду телефонировать. Вечером я ему телефонировал. Зубатов мне ответил:

— Поймите, Владимир Львович, что я видеться с вами не могу! Это опасно и для меня, и для вас!

Так я его и не видел. При первых известиях о революции в марте 1917 г., чтобы не отдаться в руки революционеров, Зубатов застрелился.

...Приехав однажды в Москву, я написал письмо Л. А. Тихомирову и попросил с ним свидания. Я у него бывал несколько раз. Он поразил меня и своей религиозностью, и своим ханжеством. За едой он крестился чуть ли не при каждом куске, который клал в рот.

В разговоре со мной Тихомиров ответил мне на многие вопросы о Народной Воле, которые меня занимали. Я ему между прочим поставил вопрос о том, какое участие принимал в составлении письма ЦК партии Народной Воли к Александру III в 1881 г. Михайловский[79] и не он ли писал это письмо?

Тихомиров, тогдашний монархист, глубоко религиозный человек, один из главных сотрудников «Московских Ведомостей»[80], очевидно, не хотел делить этой чести с Михайловским. Несколько заикаясь, он категорически сказал мне, что все это письмо писал он, а что Михайловский только прослушал его и внес в него несколько отдельных изменений, но в общем был вполне доволен письмом.

Тихомиров с глубочайшим уважением говорил, как о замечательнейшем русском человеке, какого он только встречал, об одном из первых организаторов Народной Воли —

Александре Михайлове[81]. Он сказал мне, что считает своим долгом написать о нем воспоминания, и со временем обещал мне их дать. Но я их не получил. Он тогда же дал мне рукопись для «Былого» — показания Дегаева, данные ему в Париже. В них я увидел как раз те самые строки о Геккельмане-Ландезене и Ч., которые в 1884 г. мне дала Салова для передачи Якубовичу.

Эти свидания с Тихомировым произвели на меня очень сильное впечатление, как свидания с человеком когда-то близким, а в то время жившим в совершенно чуждом для меня мире.

В 1916 году я хотел еще раз повидаться с Тихомировым и несколько раз писал ему, но ответа от него не получил. Знаю, что он, как и Зубатов, боялся ответить мне.

«Былое» дало мне возможность заняться в России в легальных условиях тем, чем я отчасти занимался еще и за границей.

Еще за границей я кое-что напечатал о департаменте полиции и об охранных отделениях. Я занимался разоблачением их деятельности и настаивал на борьбе с ними.

Я и тогда считал, что основа русской реакции и главная ее сила заключалась в ее политической полиции. Поэтому-то борьба с ней у меня и стояла на первом плане.

Начиная издание «Былого», я, разумеется, особенное внимание стал обращать на материалы об охранниках. Я старался везде, где только мог, завязывать сношения с агентами департамента полиции, хотя и понимал прекрасно всю опасность этих знакомств. Если бы департамент полиции узнал о них, то, конечно, он моментально свел бы со мной свои старые большие счеты.

Была и другого рода опасность.

Забираясь в эту темную область политической полиции, я принужден был действовать при очень конспиративных

условиях. Получаемые сведения мне было трудно проверять. Следовательно, возможно было: или впасть в роковые ошибки, или быть обманутым.

Я понимал это, и каждое подобное знакомство всегда завязывал с замиранием сердца, как будто мне приходилось ходить по краю пропасти Малейшая неудача — и я мог бы поплатиться за нее не только свободой, но и чем-то большим — своим именем.

Мои друзья, посвященные в эту мою деятельность, видимо, страшно беспокоились за меня. Однажды, после одного особенно рискованного моего свидания, Богучарский[82] сказал мне:

— Итак, Владимир Львович, Вы поставили над собой крест! Сегодня-завтра вы будете в Петропавловской крепости. Вы знаете, что Вас уж, конечно, никогда оттуда не выпустят!

— Может быть, — ответил я ему. — Что делать! Начиная борьбу с департаментом полиции, я взвесил все. Я готов на все и не считаю себя вправе отказаться от такого дела, которое у меня на руках и которого никто из вас не хочет делать.

— Итак, Вы, значит, порешили с «Былым»? Значит, «Былого» не будет? — сказал он мне в другой раз.

Мне самому было ясно, что в случае моего ареста, это прежде всего отзовется на «Былом», но когда я это услышал от другого лица, мне это стало особенно тяжело. Но я категорически заявил своим товарищам, что от борьбы с департаментом полиции я отказаться не могу.

Когда начиналось «Былое», чтобы излишне не дразнить цензуру, мое имя не было выставлено, как редактора. В журнале было только сказано, что он издается при моем ближайшем участии.

Я предложил своим соредакторам снять и это заявление и формально совершенно уйти от редакции. Но этого я не сделал, и не потому, что меня уговаривали этого не делать, а по-

тому, что это все равно не достигало бы цели. Я принял другого рода меры. В случае моего ареста эти меры сняли бы ответственность за мои сношения с департаментом полиции с редакции.

Глава двенадцатая

Встреча с Бакаем — Указания на провокацию среди эсэров — Провокатор «Раскин» — Бакай о польских провокаторах и о социал-демократической динамитной мастерской в Финляндии — Передача полякам сведений об их провокаторах

В мае 1906 года ко мне в Петербурге в редакцию «Былого» пришел молодой человек, лет 27–28, и заявил, что желает поговорить со мной наедине по одному очень важному делу. Когда мы остались с глазу на глаз, он мне сказал:

— Вы — Владимир Львович Бурцев? Я Вас знаю очень хорошо. Вот Ваша карточка, я ее взял в департаменте полиции, по этой карточке Вас разыскивали.

Я еще не произнес ни слова, и мой собеседник после некоторой паузы сказал:

— По своим убеждениям я — эсэр, а служу в департаменте полиции чиновником особых поручений при охранном отделении.

— Что же Вам от меня нужно? — спросил я.

— Скажу Вам прямо: не могу ли я быть чем-нибудь полезным освободительному движению?

Я пристально посмотрел ему в глаза. В голове у меня пронеслись роем десятки разных предположений... Вопрос был поставлен прямо... Я почувствовал, что передо мной стоял человек, который, очевидно, выговорил то, что долго лежало у него на душе и что он сотни раз обдумывал, прежде чем переступить мой порог.

Я ответил, что очень рад познакомиться и обстоятельно поговорить и что для изучения освободительного движения

может быть полезен каждый человек, а особенно служащий в департаменте полиции, если только он хочет искренне откликнуться на наш призыв.

Мой собеседник стал говорить, что он мог бы быть полезным в некоторых эсэровских практических делах, но я его остановил словами:

— Я — литератор, занимаюсь изучением истории освободительного движения, ни к каким партиям не принадлежу, и лично я буду с Вами говорить только о том, что связано с вопросами изучения истории освободительного движения и вопросами, так сказать, гигиенического характера: выяснением провокаторства и в прошлом и в настоящем.

Мой собеседник, очевидно, не ожидал, что я сведу разговор на такие как будто безобидные темы, и мне пришлось очень долго ему объяснять, что его услуги, как человека, служащего в департаменте полиции, могут иметь огромное значение для изучения истории освободительного движения и для агитации на современные политические темы. Мои надежды на агитацию и на Думу особенно его изумляли. Он твердил, что Думу через месяц-полтора разгонят, что жандармские силы мобилизуются всюду, что вероятию военных, крестьянских и рабочих восстаний не придают никакого значения, что предстоит жестокая реакция и т. д. Он никак не ожидал, чтобы я возлагал такие надежды на литературу и заботам о ней отводил столько места в наших переговорах.

Мой новый знакомый во время первой же встречи хотел рассказать свою биографию, но я его остановил, сказав, что это пока для меня не нужно, так как я буду говорить с ним только на литературные темы. Он отрекомендовался мне «Михайловский», и я лишь через несколько месяцев узнал, что это был Михаил Ефимович Бакай.

Меня, конечно, занял вопрос о мотивах, которые привели Бакая ко мне, и я его спросил об этом. Он ответил мне, что на службу в департамент полиции он поступил случайно, всегда

там чувствовал себя чуждым человеком, так как характер службы был ему ясен, служил там по инерции, пока события последнего времени не раскрыли ему глаз, и что далее оставаться на службе не было сил. Еще в 1905 г. он делал попытки переговорить с революционерами, но ничего из этого не выходило. Ему не поверили. Он сказал мне, что к решению прийти ко мне его привело одно лишь желание быть полезным освободительному движению и что он не имеет в виду каких-либо личных интересов: в денежном отношении он обеспечен прекрасно и бюрократическая карьера у него обеспечена, если бы он желал продолжать службу. Он сам упомянул о возможности провала, но сказал, что это его не останавливает и что оставаться на службе ни в коем случае не считает более возможным.

Когда Бакай говорил об охранном отделении и в ярких красках рисовал, что скрывалось там за его стенами, я часто прерывал его словами:

— Да, да, мы знаем все это!

На это он мне десятки раз повторял:

— Нет, Вы всего этого не знаете, Вы даже не подозреваете, какие ужасы творятся там!

Он говорил тоном искреннего человека, — я и тогда уже не сомневался в том, что он пришел ко мне без задней мысли (как не раз тогда приходили другие), а с желанием выйти на новую дорогу. Впоследствии я в этом убедился вполне, но вначале быть уверенным я не мог... Наша встреча была так необычайна: сошлись представители двух различных миров, говорившие еще вчера на различных языках, и мы говорили в Петербурге, в пределах «досягаемости» для департамента полиции.

Во время следующих наших свиданий мы говорили целыми часами. Предо мной действительно открывался совершенно новый мир — с иными нравами, иной логикой, иными

интересами, иной терминологией. Между прочим, я долго не мог усвоить, что «сотрудник» означает «провокатор».

Мне не без труда постепенно удавалось усваивать себе то, что я слышал от Бакая.

Мы виделись с Бакаем раз-два в месяц, а с его переездом в Петербург наши свидания стали еще чаще.

С самого начала нашего знакомства я стал убеждать Бакая писать свои воспоминания, и он редкий раз приходил ко мне без какого-нибудь нового наброска из прошлого. Много интересного для меня он рассказал и о текущих делах.

Иногда рассказы и предупреждения Бакая заставляли меня придавать им особое значение.

— Так, однажды Бакай сообщил мне:

Вчера закончился съезд эсэров в Таммерфорсе[83], приняты такие-то резолюции.

От партийных эсэров я раньше слышал, что съезд эсэров должен был тайно состояться, но не имел ни малейшего понятия о том, что он начался.

— Откуда Вы знаете это?— спросил я Бакая.

— Был у заведующего агентурой по Боевой Организации социал-революционеров «Они» уже получили сведения о съезде.

Через несколько дней этими своими сведениями я поделился с эсэром, чекистом, Крафтом[84], приходившим ко мне в редакцию «Былого».

— Да, съезд кончился именно в такой-то день, — сказал он. — Но откуда Вы узнали об этом?

— Прямо из департамента полиции!— отвечал я и, не называя никаких имен, объяснил, как я это узнал. Крафт изумился моим сообщением, и для него, как и для меня, стало тогда ясно, что департамент полиции в центре партии эсэров имеет очень хорошего осведомителя.

Я просил его сообщить об этом кому следует.

Но с каким доверием после нескольких месяцев знакомства с Бакаем я ни относился к его сведениям, я все-таки иногда бывал озадачен ими и задавал себе вопрос: да не обманывают ли его охранники, догадавшись о наших с ним сношениях, и не рассчитывают ли они через него ввести меня в заблуждение и на этом поймать меня.

Однажды Бакай пришел в редакцию «Былого» и рассказал мне следующее.

На улице он случайно встретил одного молодого девятнадцатилетнего юношу Бродского, брата известных польских революционеров, служившего тайным агентом-осведомителем в варшавском охранном отделении. Бродский рассказал Бакаю, как своему человеку, если хотите, как своему начальнику, что он имеет дело с революционерами-террористами, устраивающими динамитную мастерскую в Финляндии, и посвящен в их дело. Вот точная запись тогдашнего разговора Бакая с Бродским.

— Я теперь уже — член боевой организации большевиков и служу в охранном отделении, — говорил Бродский Бакаю. — Познакомился со студентом Александром Нейманом, сошелся с ним и теперь являюсь его помощником в обучении рабочих за Нарвской заставой боевым делам. Нейман читает им лекции о приготовлении разрывных снарядов.

— Он теперь в Питере?

— Нет, в Финляндии; он там находится в лаборатории.

— Охранное отделение обо всем этом знает?

— Да, конечно! Нейман теперь взят под наблюдение и место нахождения лаборатории точно установлено. Теперь остается выяснить еще некоторые районы, и тогда произведут аресты. Склад винтовок и револьверов также известен.

— Знаете ли что, — сказал мне Бродский, — зайдемте в одну квартиру здесь недалеко, и я Вам кое-что покажу. Там никого нету, комната в полном моем распоряжении, а жалеть не будете.

Мы пошли в дом № 3, кв. 27 по Бармалеевой улице, дверь отворила какая-то женщина и беспрепятственно пропустила нас в комнату.

— Это комната Неймана, — сказал Бродский, — она предоставлена в полное мое распоряжение.

Потом Бродский достал из кармана ключ, открыл ящики стола и вынул оттуда свертки, в которых оказались динамит, запасы и более десяток форм для бомб.

— Охранное отделение и об этом также знает?

— Конечно, знает. Я даже кое-что носил на конспиративную квартиру. Думают сделать так: когда установят связи Неймана в Финляндии, и когда он будет возвращаться, то его на вокзале арестуют, в Финляндии найдут лабораторию, а здесь материалы для бомб.

Надо знать всю сложность конспиративных тогдашних условий моего знакомства с Бакаем, чтобы понять, что мне невольно в голову приходили разные тревожные гипотезы, и я нелегко мог отнестись доверчиво к сообщаемым фактам. Я мог, например, допустить, что Бродскому поручено сообщить Бакаю ложные факты, втянуть в это расследование и меня, и моих друзей, чтобы всех нас потом скомпрометировать. Все это могло кончиться хуже, чем арестами.

Но дальнейший расспрос Бакая меня убедил, что рассказанное им дело очень серьезно, и я рискнул заняться им. Я отправился в Государственную Думу и вызвал одного из социал-демократических депутатов, сообщил ему сущность рассказа Бакая и просил расследовать, в чем дело. Конечно, мне пришлось сообщить полученные мною сведения очень осторожно, чтобы его деталями, в случае провала, не навести охранников на тот путь, каким я получил из департамента полиции эти сведения.

Через несколько дней мне сообщили, что хотя, действительно, есть такой социал-демократ Нейман, есть кружок,

имеющий сношения с Финляндией, но в моем рассказе много преувеличенного, на самом деле не о чем тревожиться. Вскоре дополнительные рассказы Бакая были таковы, что я счел нужным еще раз сходить в социал-демократическую фракцию Государственной Думы и предупредить об этом деле. Я между прочим сказал социал-демократам, чтобы в дальнейшем они действовали помимо меня, так как я еду по личному делу в провинцию. На самом деле я должен был в ближайшие дни бежать из России.

Когда я приехал за границу, я вскоре прочитал в газетах телеграмму, что в Финляндии, в Келомяках, арестовано человек десять социал-демократов вместе с Нейманом, что открыта динамитная мастерская и т. д. Я понял, что сведения Бакая были точны.

Нередко на свидания со мной Бакай приносил интересные документы. Так, им была принесена и записка жандармского ротмистра Петухова, наделавшая в свое время большой шум и в прессе, и в среде правительства. Была назначена даже специальная комиссия для исследования того, как могла попасть в печать эта записка, переписанная в одном экземпляре и предназначенная для трех-четырех лиц. Больше всех, кажется, бился над этой загадкой помощник генерал-губернатора Утгоф. «А ларчик просто открывался». Утгоф придавал такое значение записке Петухова, что не решился послать ее с кем-нибудь для прочтения начальнику варшавского охранного отделения П. П. Заварзину, и лично сам ее отвез, но не мог дождаться Заварзина и дал ее Бакаю для передачи ему. Бакаю ровно столько пришлось дожидаться приезда Заварзина, сколько нужно было времени, чтобы с этой записки снять для меня копию. Остальное понятно само собой.

Помню, с каким изумлением я услышал от Бакая в первый раз в Петербурге еще летом 1906 г., что через порог охранного отделения перешагнул и... известный польский писатель Станислав Бржозовский! Еще более меня изумился

этим польский революционер, которому я об этом сообщил через несколько дней. Поляк любил Бржозовского, зачитывался его статьями, видел в нем талантливого выразителя своих взглядов на социальные и политические вопросы. Когда известия о Бржозовском в начале 1908 г. стали, наконец, общим достоянием и его имя, как человека, служившего в охранном отделении, попало в печать, нашлись два польских литератора, которые в брошюре открыто, страстно защищали Бржозовского. Они находили недопустимым, чтобы он одновременно писал свои чудные статьи и бегал в охранное отделение за получкой 30 серебреников.

В конце 1906 г. Бакай, по моим настояниям, бросил службу в варшавском охранном отделении, подал в отставку и переехал в Петербург. Здесь он на свободе занялся писанием своих воспоминаний. Он приносил мне свои статьи для просмотра и по моим указаниям делал потом необходимые дополнения и изменения.

Круг сведений Бакая был сравнительно ограничен. Они относились главным образом к варшавскому охранному отделению. Но так как деятельность охранных отделений носила строго конспиративный характер, и охранники мало доверяли друг другу, каждый вел только порученное им дело, то Бакай мог знать главным образом только те дела, которые он сам вел, о делах других чинов, даже варшавского охранного отделения у него были только отрывочные сведения и указания без имен. Тем не менее, в сообщениях Бакая для меня было много чрезвычайно интересного.

Прямых указаний на провокаторов в русских революционных партиях у Бакая было мало, но зато он дал много косвенных указаний, как вести о них расследования

Бакай настаивал на том, что в партии эсэров среди влиятельных ее членов имеется какой-то важный провокатор, бывавший у них на съездах. Среди охранников этот провокатор назывался Раскиным. Но о нем Бакай не мог дать никаких

точных указаний. Он только сказал мне, что один из главных филеров, Медников, как-то однажды сообщил ему в Варшаве в 1904 г., что туда должен был приехать видный департаментский сотрудник среди эсэров Раскин и он будет иметь свидание с инженером Д. Затем Медников[85] сказал Бакаю, что свидание это не состоялось и что Д. почему-то не хотел видеться с приехавшим агентом. Но как эти сведения ни были неопределенны, я ими воспользовался и старался выяснить, кто такой Раскин. Для этого я вызвал в редакцию «Былого» инженера Д., но выяснить вопрос о Раскине нам удалось только позднее.

После нескольких месяцев нашего знакомства я стал относиться с полным доверием к рассказам Бакая, но и тогда возможность невольной ошибки с его стороны иногда не позволяла мне из его сведений делать все выводы, которые они заключали.

За все время моего знакомства с Бакаем я продолжал внимательно изучать и лично его, и его сведения.

Наконец я решился его сведениями поделиться с поляками.

Я вызвал в редакцию «Былого» знакомого революционера Абрамовича[86], имевшего постоянные сношения с польскими и еврейскими революционными организациями в Варшаве, и с разными оговорками, не называя источника, сообщил ему кое-что из того, что узнал от Бакая о польских делах. Я сказал ему, что источник очень компетентный, ошибок в его сведениях, по всей вероятности, не может быть, и что я употреблял все средства расследовать то, что он мне сообщил, и это до сих пор все оказалось очень точным. Думаю, что у него нет и сознательного желания ввести меня в заблуждение.

В первое же наше свидание с Абрамовичем, кроме общего взгляда на положение борьбы в Варшаве, я дал несколько имен провокаторов для проверки.

Абрамович отозвался о моих сведениях, как о чем-то невероятном.

В разговоре с Абрамовичем я особенно почувствовал безграничный ужас от возможности сделать ошибку. У меня холодно стало на сердце. Я чувствовал, что я смотрю в какую-то страшную пропасть. В ту минуту мне было безмерно тяжело, что я завел знакомство с Бакаем и что пригласил к себе Абрамовича

Когда Абрамович ушел от меня, я не мог оставаться в редакции. Я несколько часов пробегал по Петербургу и взвешивал каждое слово в своем разговоре с Абрамовичем.

Несмотря на свое недоверие к моим сообщениям, Абрамович тем не менее согласился послать специального человека в Варшаву для проверки обвинений против некоторых указанных мною лиц и обещал скоро дать ответ.

Я ждал этого ответа, как приговоренный к смертной казни. Мне могли сообщить, что лица, указанные как агенты полиции, надежнейшие товарищи и что, следовательно, я введен кем-то в заблуждение и распространяю клевету.

Через несколько дней Абрамович пришел ко мне в редакцию «Былого» Я с замиранием сердца по выражению его лица хотел угадать, с какими сведениями он пришел, но ничего на его лице прочитать не мог. Я постарался поскорее удалить посторонних лиц, и когда мы остались вдвоем, Абрамович сказал мне:

— Можете представить: то, что успели проверить, оказалось верным! Все ли верно — мы узнаем потом, во всяком случае Ваш источник заслуживает полного внимания.

У меня от сердца отлегло.

С тех пор я еще внимательнее стал расспрашивать Бакая, но тем не менее каждое новое его сведение я с тревогой передавал заинтересованным лицам.

Глава тринадцатая

Аресты среди эсэров летом 1906 г. — Встреча с Азефом на улице в Петербурге — Первое подозрение против Азефа в провокации

Я стал просить Бакая в разговорах с его знакомыми охранниками ставить им нужные для меня вопросы и стараться получить на них нужные для меня ответы. С этого рода поручениями Бакай, по моим просьбам, бывал у заведующего политическим сыском Доброскока[87], ездил во Владимир к Зубатову, разговаривал с своим непосредственным начальством и т. д. Потом мы вместе с ним расшифровывали их ответы.

Так, например, я просил Бакая задать вопрос Доброскоку, почему такие-то террористические акты были удачны, несмотря на агентуру, которой он всегда хвастался? Доброскок на это ответил, что эти удачные террористические акты произошли только благодаря тому, что в это время их агента не было в Петербурге. Это его указание потом было очень полезно для моих расследований.

Мои сношения в продолжение нескольких месяцев с Бакаем и с некоторыми другими, кто знакомил меня с политическим сыском, сильно обогатили мои сведения о департаменте полиции, и я приступил к разоблачению провокаторов.

Более всего меня занимал вопрос о провокации среди эсэров, так как она могла быть особенно опасна для всего освободительного движения, и я занялся ее изучением.

Летом 1906 г. было много арестов среди террористов. Их объяснили случайностью, внешней слежкой и т. д. Меня эти объяснения не удовлетворяли и во всех этих провалах я чувствовал присутствие провокации. Сведения Бакая позволили мне говорить об этом уверенно. Я был убежден, что провокация среди эсэров гнездится гораздо глубже, чем это думали.

Однажды после работы в редакции «Былого» я отправился гулять и шел по Английской набережной. В этот раз я забыл даже посмотреть, есть ли за мной слежка или нет. Вдруг издали увидел, что навстречу мне на открытом извозчике едет Азеф со своей женой. Лично с Азефом я не был знаком, но его роль в партии эсэров мне вообще была хорошо известна. Я знал, что он стоит во главе Боевой Организации. Еще незадолго перед этим я был в Териоках и встретил на улице Азефа в таком же костюме, в каком он был сейчас.

С женой Азефа я был хорошо знаком, и я пришел в ужас от мысли, как бы она не вздумала со мной поздороваться. Я прекрасно сознавал, что если за мной идут сыщики и жена Азефа вздумала бы со мной поздороваться, то, конечно, эта наша встреча могла бы кончиться роковым образом.

Как часто бывает в таких случаях, мысль работала быстро, картина менялась за картиной, предположение за предположением. Решать надо было быстро. Я дал ей знать глазами о своей тревоге и, не оборачиваясь в ее сторону, пошел дальше. Пройдя довольно порядочно, я как бы нечаянно уронил газету. Обернувшись, я стал ее поднимать и в то же время посмотрел туда, куда уехал извозчик. К ужасу моему, я увидел, что на пустынной на этот раз набережной извозчик, на котором только что ехали Азефы, остановился, вокруг него стояла толпа и к ней быстро шел городовой. Я был уверен, что произошла катастрофа, и решил вернуться и подойти к толпе. В толпе я не увидел Азефа. Как оказалось, произошел какой-то обычный уличный скандал, кого-то задерживали, и извозчик остановился, как и другие, посмотреть на это зрелище. Я стал глазами искать, куда могли деться Азефы. Я зашел, между прочим, на пароходную пристань и увидел, что оба они стояли около кассы в хвосте, дожидаясь билетов. Тут только я почувствовал облегчение и понял, что моя тревога была напрасна. Я прошел мимо жены Азефа, дал ей понять, что все благополучно и, не здороваясь, ушел.

Я не сейчас вернулся в редакцию и продолжал гулять по улицам; я радовался, что этот инцидент, который мог дорого обойтись, прошел благополучно.

Но передо мной вдруг встал очень серьезный вопрос:

Если я издали увидел Азефа и так легко узнал его, то как же сыщики, которые, конечно, знают его в лицо, могут его не узнать, когда он так открыто бывает в Петербурге?

Этот вопрос с того дня приковал к себе мое внимание.

Я решил, что Азефа не арестовывают, по всей вероятности, потому, что полиции невыгодно его арестовать: например, потому что около него есть сыщик-провокатор, который получает через него нужные сведения. С тех пор я стал искать около Раскина Азефа. Я даже просил передать Азефу, что его, по моему мнению, не арестовывают, очевидно, именно потому, что около него есть какой-нибудь провокатор и он, Азеф, потому является нужным человеком для жандармов.

Сколько я ни перебирал фамилий из известных мне эсэров-боевиков, кто из окружающих Азефа мог бы оказаться Раскиным, я ни на одной фамилии не мог остановиться. Ни личные качества, ни их биографии, ни сведения об их отсутствии или присутствии в Петербурге во время бывших террористических покушений не позволяли мне ни на одну минуту остановиться на вопросе — не он ли тот провокатор, которого я ищу? За все время расследования дела Азефа я ни разу не высказал ни одного ошибочного предположения ни на кого из эсэров, что он, может быть, и есть Раскин.

Но вот однажды, перебирая все известное мне лично об Азефе, я вспомнил кое-что, что меня всегда заставляло избегать с ним знакомства.

Как-то, неожиданно для самого себя, я задал себе вопрос: да не он ли сам этот Раскин? Но это предположение мне тогда показалось столь чудовищно нелепым, что я только ужаснулся от этой мысли. Я хорошо знал, что Азеф — глава Боевой Организации и организатор убийства Плеве, велико-

го князя Сергея[88] и т. д., и я старался даже не останавливаться на этом предположении. Тем не менее, с тех пор я никак не мог отделаться от этой мысли, и она, как какая-то идея, всюду меня преследовала.

Выходя из предположения — Раскин не Азеф ли? — я с этой точки зрения стал рассматривать все, что знал о деятельности эсэров за последние годы. Когда я с тех пор расспрашивал террористов о причинах удач и неудач бывших террористических покушений, я, незаметно для них, ставил вопросы, касающиеся Азефа, и, между прочим, о том, где он бывал в это время.

Я нередко должен был невольно признаться самому себе, что чем я больше отмахивался от обвинения Азефа, тем оно делалось для меня все более и более вероятным.

Глава четырнадцатая

Арест Бакая и обыск в редакции «Былого» — Мой отъезд из России — В Париже — В Финляндии — Встреча с Траубергом — Устройство побега Бакаю

В 1906–1907 гг., кроме Бакая, я поддерживал связи и с другими лицами из мира охранки, которые тоже давали мне сведения. Для одних редакция «Былого» являлась приманкой, когда они рассчитывали что-нибудь заработать за сообщение материалов, а для других это было местом, где они могли бы из соображений нематериальных поделиться своими сведениями. Таким образом, за 1907 г. у меня в «Былом» сосредоточились драгоценные сведения о деятельности департамента полиции.

Но к марту 1907 года охранники стали догадываться о моих сношениях с лицами, близкими к департаменту полиции. Они стали подсылать ко мне агентов, чтобы поймать меня при покупке документов. Но, как оказалось, мне всякий раз удавалось избежать расставленных ловушек. Я не покупал и

ни на минуту не оставлял в своей квартире приносимых мне документов от лиц, кто возбуждал во мне сомнение.

В конце марта 1907 года меня постигли первые неудачи в моих сношениях с охранниками.

Не без помощи провокации — по всей вероятности, по указанию Азефа — в департаменте полиции заподозрили Бакая в измене.

Бакай как-то предупредил меня, что за ним стали ходить по пятам сыщики. Я понял, что в ближайшие же дни он будет арестован.

В это время я уже вполне был убежден в искренности Бакая и что он действительно желает помочь мне в борьбе с провокацией. Я убеждал его сейчас же скрыться в Финляндию, а оттуда — за границу. Я обещал его обеспечить, чтобы он мог там устроиться. При «Былом» мне тогда не трудно было сделать это. С его поездкой за границу я связывал свою будущую борьбу с департаментом полиции. Вслед за Бакаем я и сам рассчитывал ехать туда же.

Уступая моим настояниям, Бакай уже раз был с чемоданом на Финляндском вокзале, но, увидев за собой усиленную слежку, почему-то не уехал. Он все еще думал, что «его» не решатся арестовать!

Но вот, 31 марта (1907 г.) ранним утром Бакая обыскивают, отбирают часть просмотренных мною рукописей о пытках в Варшаве, о перлюстрации, о черных кабинетах и т. д. и арестовывают его.

В то же самое утро был произведен обыск у меня в редакции. Все перевернули вверх дном, но ничего подозрительного найдено не было, и меня пока оставили на свободе.

В руках охранников очутился необычный тип арестованного. Еще вчера в департаменте полиции и в охранных отделениях Бакая считали безусловно своим человеком. Он знал их секреты, пользовался их полным доверием, он состоял у

них на действительной службе, жалованье ему давали до трехсот рублей в месяц по должности чиновника шестого класса... Идут усиленные допросы Бакая, ему грозят военным судом за измену, за указание им провокаторов, из которых некоторые тогда уже были убиты революционерами, а другие вышли, так сказать, «в тираж» Но в руках жандармов оказались лишь бакаевские статьи по истории освободительного движения да указания на знакомство со мною. На допросах стараются припутать к делу меня.

Предать суду Бакая было очень неудобно. На суде нельзя было бы обойти молчанием вопросов о перлюстрации, о провокации в делах с бомбами, которые при допросах Бакая неизбежно выплыли бы наружу. Поэтому его содержат в Петропавловской крепости месяцев шесть и потом без суда ссылают на три года в Обдорск, где так удобно похоронить и его, и его любопытные сведения.

Со времени ареста Бакая я увидел за собой усиленную слежку и понял, что меня хотят арестовать.

Как редактору «Былого», мне не трудно было выхлопотать разрешение выехать за границу по делам редакции, и мне скоро, в тот же день, выдали заграничный паспорт.

С паспортом в кармане я зашел в редакцию и сделал последние распоряжения. Затем с одним своим приятелем отправился в свою гостиницу; отобрал самые нужные мне вещи и предупредил прислугу, что сегодня, может быть, не буду ночевать и поеду в Озерки, а что мой приятель принесет мне некоторые мои вещи в редакцию. Я попросил моего приятеля посидеть с полчаса в моем номере после моего ухода и, только убедившись, что нет за ним слежки, отнести мои вещи знакомым, кто бы их доставил на Варшавский вокзал.

Когда я вышел из дому, я увидел, что за мной пошли два сыщика, а в стороне ехал их извозчик. Через час, после больших усилий, я наконец смог отделаться от слежки. На всякий случай еще некоторое время поплутавши по городу, я чи-

стым, «без хвостов», явился на Варшавский вокзал, где уже меня дожидались с моими вещами, и спокойно сел в поезд. Через сутки с небольшим я был за границей, прежде чем в департаменте полиции спохватились, что я исчез из своей квартиры.

Для меня началась новая эмиграция — пока, вернее, это была только полуэмиграция.

Я побывал в Париже, Швейцарии и Италии. Но прежде чем официально выступить, как эмигрант, и начать в Париже издания за своим именем, я решился на некоторое время поселиться в Финляндии. Туда я поехал по тому паспорту, который получил на выезд из России, и таким образом жил там формально не как эмигрант, а как легальный человек, возвращающийся в Россию, но почему-то задержавшийся в Финляндии.

В это время в Финляндии существовало много русских революционных организаций с их полутайными типографиями. У них здесь бывали революционные съезды. Здесь же были центральные комитеты, динамитная мастерская, склады оружия и т. д. Финляндия была в то время вообще, так сказать, базой для действующих в России революционных организаций. Между Петербургом и Финляндией у революционеров были непрерывные сношения.

Я решился для борьбы с провокацией, рискнуть остаться некоторое время в Финляндии. Сноситься из Териок с Петербургом было очень легко и ко мне часто приезжали знакомые и друзья. Я мог поддерживать постоянные сношения с редакцией «Былого». Но ехать мне самому в Петербург было совершенно невозможно.

В Финляндии я скоро познакомился со многими жившими там революционерами.

Особенно памятной мне осталась встреча с главой «Северного летучего отряда эсэров» — Карлом» (Траубергом)[89].

Во время нашей первой встречи в Териоках, на квартире эсэров Денисевичей, я много говорил с Карлом о террористической борьбе эсэров и доказывал ему, что неудачи происходят главным образом благодаря существующей в партии провокации. Трауберг же все неудачи объяснял иначе: ошибками организации, перехваченными письмами, предательством арестованных и т. д.

Однажды я его попросил дать мне честное слово, что он никому никогда не скажет того, что я ему сообщу.

Трауберг дал мне слово и сдержал его.

Со всякого рода оговорками я ему сказал, что в предательстве я обвиняю главу Боевой Организации: — Азефа. Трауберг выслушал и, видимо, не желая как-нибудь обидеть меня резким словом, только мягко сказал, что это мое «предположение недопустимо», — и наш разговор на этом и прекратился.

Через неделю у меня с ним было новое свидание. Я снова поднял вопрос об Азефе. На этот раз Трауберг не только поколебался, но уже стал отчасти допускать возможность этой моей гипотезы. Еще через неделю Трауберг стал говорить, что он почти уже не сомневается в том, что я прав в моих догадках и что с своей стороны он примет меры для расследования дела Азефа, — и он мне тогда же сообщил, что имеются указания на Азефа, как провокатора, в письме из Саратова.

Вскоре после этого нашего разговора Трауберг и его товарищи при таинственной обстановке были арестованы.

Из правительственного сообщения по поводу этих арестов было ясно, что правительство не только знало то, что Трауберг подготовляет террористический акт в Государственном Совете, но что этот акт должен был быть совершен одним из иностранных корреспондентов, В. В. Кальвино-Лебединцевым (эсэром). Он должен был в Государственный Совет пронести в своем портфеле бомбу и бросить ее там.

Сведения были точные. О них могли знать только очень немногие эсэры, и среди них и нужно было искать предателя. Лицо, на которое, по моему мнению, могло пасть подозрение, прежде всего был, конечно, Азеф.

Приблизительно в это же время я узнал, что содержащийся в Петропавловской крепости Бакай за знакомство со мной высылается в ссылку в отдаленные места Сибири. Когда он был еще в петербургской пересыльной тюрьме, я из Териок снесся с ним и просил его под предлогом болезни задержаться в одном из ближайших городов Сибири. Я ему обещал устроить побег. Вскоре я узнал, что Бакаю удалось задержаться, кажется, в Тюмени. Тогда я туда послал Софью Викторовну Савинкову, сестру Бориса Викторовича[90], и через нее предложил Бакаю бежать за границу, обещая ему обеспечить там его проживание, если он пожелает помогать мне в моих разоблачениях.

В Тюмени Бакай на несколько дней был выпущен из тюрьмы на вольную квартиру. Савинкова отыскала его и передала ему мое поручение. Но в то время, как они разговаривали, к Бакаю неожиданно нагрянула полиция. При обыске ничего подозрительного найдено не было. Савинкову Бакай отрекомендовал как только что приехавшую к нему жену.

Бакаю было объявлено, что на этих днях он высылается дальше в Сибирь. В тот же день Савинкова и Бакай, отдельно друг от друга, тайно выехали из Тюмени. Через несколько дней они благополучно, в одном поезде, приехали ко мне в Териоки.

Один из первых вопросов, с каким обратился ко мне Бакай, был такой:

— Кому Вы, Владимир Львович, говорили, что устраиваете мой побег?

Я ему категорически ответил:

— Никому!

— Странно! — сказал Бакай. — В Тюмени меня должны были арестовать по телеграмме из Петербурга в Тобольск. Значит, в Петербурге кто-нибудь донес о том, что Вы устраиваете мне побег.

Я продолжал категорически утверждать, что никому не говорил об его побеге. Но я с трудом мог скрыть от него, какую бурю во мне он поднял этим своим вопросом.

Об этом побеге я сказал Чернову. Чернов, как оказалось, сообщил об этом Азефу, а Азеф, следовательно, мог сообщить эти сведения в департамент полиции. Благодаря его доносу могла быть послана телеграмма в Тобольск о том, чтобы немедленно выслать Бакая в Обдорск. Я не сомневался, что Азеф — предатель и что, следовательно, он не только мог донести, но он уже донес в департамент полиции о готовящемся побеге Бакая. Имя Бакая в моем разговоре с Черновым, кажется, не было названо, но в городе известно было, кто из служащих в департаменте полиции был только что выслан в Сибирь за сношения со мной. Во всяком случае, это хорошо знали в департаменте полиции. По времени все совпадало: Чернов о побеге Бакая сообщил Азефу, а Азеф мог успеть сообщить в департамент полиции.

Про себя я повторял: «Азеф — предатель! Азеф — предатель!»

Глава пятнадцатая

Моя встреча с Азефом в Финляндии — Телеграмма об аресте Бакая — Арест охранника Раковского — Лебединцев — Кальвино

Вот что произошло незадолго перед тем, о чем тогда я не мог рассказать Бакаю.

Когда я отправлял в Сибирь Савинкову, у меня не хватало денег, и за ними я обратился через Чернова к эсэрам. Я сообщил ему, что деньги нужны для устройства побега высланного

в Сибирь человека, который может быть очень полезен в борьбе с департаментом полиции. Я просил Чернова оставить между нами, для чего мне нужны деньги, и абсолютно никому об этом не сообщать. Часть денег я получил от Чернова тогда же, а остальную сумму он хотел принести мне сам через неделю в мою гостиницу в Выборге в 2 часа дня. Недостающие деньги я занял, и тотчас отправил в Сибирь Савинкову.

В назначенный день я сидел в своей гостинице и ждал Чернова. Раздался стук в дверь. Я сказал: «Войдите!»

Дверь отворилась, и на пороге вместо Чернова я увидел... Азефа!

Я сразу все понял. Я понял, что он пришел по поручению Чернова, что он знает об устраиваемом мною побеге Бакаю... Я решил, что провалено все и что я всецело нахожусь теперь в руках Азефа.

Когда он стоял в дверях, его лицо было какое-то перекошенное, как у какого-то изобличенного преступника. Мне и тогда, в тот самый момент, оно показалось именно таким, каким я видел, тоже в дверях, лицо Ландезена, когда он вернулся к нам в Париж после поездки в Россию, и мог думать, что в его отсутствие его роль уже разгадана и его встретят, как предателя. Азеф явно волновался и не знал, приму ли я его или, быть может, брошу ему обвинение в предательстве.

Мысленно я повторял только одно слово: «Предатель! Предатель! Предатель!..» В моем распоряжении было всего несколько секунд для того, чтобы решить, как встретить Азефа.

Я быстро встал с кресла и закричал:

— А, наконец-то мы встретились! Сколько лет мне хотелось с вами повидаться! Ведь у нас есть, о чем поговорить.

Я говорил тоном человека, обрадовавшегося давно жданной встрече с очень интересным и нужным человеком.

В этот момент Азеф снова напомнил мне Ландезена, когда тот, убедившись, что не разгадан, развязно, вошел в комнату

и стал непринужденно разговаривать с нами. Он видел, что его встречают с полным доверием и на его лице испуг, страх и нерешительность, что было несколько секунд тому назад, — враз все пропало. Его фигура говорила о его добродушии — естественном или деланном — это другой вопрос. Он вплотную подошел ко мне уверенной походкой, весь сияющий и, по-видимому, хотел обнять меня и расцеловаться. Но я, как бы нечаянно уронил бывшие в моих руках бумаги и, нагнувшись, левой рукой стал их поднимать, а правой поздоровался с Азефом и затем усадил его на кресло прямо против себя.

Комната была светлая, и свет падал прямо на Азефа.

Во все время этого разговора я смотрел ему в лицо. Я видел каждое движение его мускулов. Внимательно следил за всем, что он говорил. И то, о чем он меня расспрашивал, и то, что он мне говорил, все это я рассматривал с той точки зрения: что обо всем этом думает сидящий передо мной предатель?

Я смотрел ему в лицо, вслушивался в его вопросы и ответы, следил за его глазами, за его смехом, за его улыбками, его жестами, и внутренно все время повторял себе: «Предатель! Предатель! Предатель!..»

Азеф начал с того, что Чернов ему рассказал о своем со мной разговоре, и по поручению ЦК он передает мне деньги. Далее он стал с восторгом говорить о моей борьбе с департаментом полиции, о том, что я делаю огромное дело, без которого революционеры существовать не могут, что без нее немыслимы никакие революционные организации, что он будет настаивать на том, чтобы для этой борьбы мне были найдены большие средства и т. д.

Я жаловался Азефу, что никто мне не помогает, что в партии эсэров не понимают моей работы, что все Черновы — не практики, а теоретики, что с ними нельзя вести дела, и что было бы очень хорошо, если бы в моей борьбе с департаментом полиции согласился вместе со мной принять участие такой революционер-практик, как он, Азеф.

При этих моих словах Азеф, очевидно, не мог скрыть своей особой радости, и сказал мне, что он с удовольствием согласится работать вместе со мной и что мы вдвоем, конечно, сумеем широко развить это дело.

— Вы в настоящее время готовите побег из Сибири одному агенту департамента полиции, — сказал мне Азеф.

Я ответил:

— Да!

Я понял, что он знает о готовящемся побеге Бакая.

— Затем, — продолжал Азеф, — у Вас бывает в Финляндии другой агент...

Итак, и это было известно Азефу!

— Третья Ваша связь с департаментом полиции... — опять стал мне говорить Азеф, но уже как-то неуверенно. Он как бы только вызывал меня на подробности... Эта третья связь его, очевидно, очень интересовала. Но о ней я ничего не говорил Чернову, кроме того, что есть четыре серьезных источника для получения сведений из департамента полиции, а поэтому о ней ничего не мог знать и Азеф.

Я стал подробно рассказывать Азефу о том, что этот мой осведомитель один из влиятельных деятелей судебного ведомства из прокурорского надзора, сам он не служит в департаменте полиции, но там он свой человек и в самых доверительных отношениях находится с его руководителями, что он либерально настроен, и я лично с ним в очень близких отношениях. В настоящее время он болен и ему надо ехать лечиться за границу. Он согласен эмигрировать и открыто помогать нам, но требует только значительную сумму денег — тысяч сорок, — и тогда он весь будет к нашим услугам. В своем рассказе об этой мнимой связи с департаментом полиции я старался заинтересовать Азефа разными деталями и этими подробностями придать своему рассказу возможно больше вероятия.

Ничего, конечно, нужного для розысков о третьем моем источнике Азеф не мог рассказать департаменту полиции, но эти придуманные мной сведения, как я потом узнал, очень заинтересовали не только Азефа, но и департамент полиции.

Впоследствии, когда во Франкфурте Азеф разговаривал со мной, он сказал мне:

— Ведь Вы ко мне тогда отнеслись с полным доверием. Вы мне рассказали об агентах, с которыми Вы ведете дело.

Я объяснил Азефу, что из его слов я понял, что о Бакае и Раковском[91] он знает от Чернова.

— Да, — прервал меня Азеф, — но Вы мне рассказывали о прокуроре, с которым Вы имели дело!

— Я Вам рассказывал о прокуроре, какого совсем не существовало. Я все детали выдумывал в тот момент, когда с Вами разговаривал. Я знал, что об этой связи (это был не прокурор и приметы к нему совсем не подходили) Вам ничего не мог говорить Чернов, так как и я ему ничего не говорил.

— Так, значит, Вы мне говорили неправду? — несколько обиженным и укоризненным тоном сказал мне Азеф.

Я не стал отрицать, что я ему солгал.

Теперь Азеф был в восторге от разговора со мной и, наверное, рисовал себе радужными красками, как он скоро вместе со мной будет работать над разоблачением провокаторов и... как вскроет всю мою деятельность! Мы условились с ним встретиться дней через десять.

Указание на агента, бывающего у меня в Финляндии, также, конечно, было передано Азефом в департамент полиции, и этот агент — Раковский, — который у меня бывал и давал мне сведения, был тогда же арестован в Петрограде.

Его арест произвел большой шум. Желая отклонить подозрения от Азефа, что и в данном случае арест произведен по его указанию, департамент полиции, как и при аресте Трауберга, дал в печати фантастические сообщения. Убедили

ли они кого-нибудь, что и Трауберг, и Раковский арестованы благодаря их собственной оплошности и искусству жандармской полиции, но на меня они подействовали как раз наоборот. Для меня это было лишним доказательством, что, когда власти сознательно путают в своих официальных заявлениях, то, значит, им очень надо скрыть истинную причину ареста Трауберга и Раковского, и что арест обоих их — дело того провокатора Раскина, которого я все время отыскивал. Меня эти сведения приводили опять-таки к тому же убеждению, что Раскин — это Азеф.

Пока я разговаривал с Азефом, я употреблял все усилия не выказать ему моего внутреннего волнения. Я только тогда почувствовал, как эта беседа взволновала меня, когда дверь за Азефом захлопнулась, и я остался один.

Я вызвал в Выборг к себе в гостиницу заместителя Трауберга — Лебединцева, которого я встречал еще в Париже, и решился ему сообщить то же, что я говорил Траубергу.

После всякого рода оговорок я сказал Лебединцеву[92], что, по моему мнению, Азеф — предатель, и что об этом я уже говорил Траубергу. Сообщил я ему и то, что в последние дни произошли события, которые меня еще более в этом укрепили. Но я ему ничего не говорил о своей встрече с Азефом. Лебединцев был очень взволнован тем, что я ему сказал. Он в это время в некоторой связи с эсэрами готовил свой террористический акт. Он не отрицал основательности моего обвинения Азефа, и мы решили с ним заняться дальнейшим изучением Азефа.

Более Лебединцева мне не удалось видеть. Вскоре я уехал за границу, а Лебединцев был арестован по делу о заговоре на покушение на Щегловитова[93] и в числе семи лиц тогда же был повешен.

Все последующие после свидания с Азефом дни были для меня полны тревоги. Тяжелых известий ждал я из Сибири, ежедневно ждал и своего ареста. Я очистил свою квартиру

в Териоках и сделал все необходимые указания на случай ареста.

Но вот однажды, когда я был у себя дома в Териоках, отворилась дверь: вошла Савинкова, а за ней, как ее победная добыча, шел Бакай.

Редко я радовался так, как этой встрече.

Бакай сказал мне, что он рассчитывает остаться несколько дней в Финляндии и хочет выписать к себе на свидание жену. Но я решительно запротестовал против этого и, не объясняя в чем дело, настоял на том, чтобы Бакай немедленно в тот же день ехал в Стокгольм.

Через несколько дней в Выборге я получил от Бакая из Стокгольма условную телеграмму о том, что он благополучно проехал.

В гостинице в Выборге, где я постоянно останавливался, я сказал, что еду к себе в Териоки, а в Териоках сказал, что еду в Выборг, а сам тем временем направился в Або.

На другой день я из Або на пароходе выехал в Стокгольм.

Глава шестнадцатая

В Париже — Начало борьбы с провокацией — Разоблачение Кенсинского — Дела Бржозовского и Стародворского

Я был вне предела досягаемости для Азефа и отныне мог вести с ним открытую борьбу. Телеграммой я дал знать в Париж моим товарищам, что я еду, и просил это передать Бакаю.

На этот раз в Париж я приехал уже формально эмигрантом.

...В Париже я открыто поднял совершенно новый для эмиграции вопрос — о борьбе с провокацией.

Вскоре после приезда в Париж, я предъявил обвинение против нескольких провокаторов, кто играл тогда заметную роль в революционном движении и имел связи с революционерами, действовавшими в России. С своим списком — в

нем было до 50-60 имен, — я познакомил все партии, и они присылали ко мне за справками.

Одного из первых я обвинил в провокации деятельного члена максималистов[94] Кенсинского, бывшего секретарем на их только что окончившемся съезде. Его товарищи были возмущены моим обвинением, головой за него ручались и говорили о его больших заслугах. Меня обвиняли в шпиономании. Они знали, что сведения мне дал Бакай, и решили, что Бакай подослан ко мне и что таким образом охранники хотят дезорганизовать их партию.

Больше всего шумел сам Кенсинский. Я потребовал его к допросу, и после первого же допроса Кенсинский должен был скрыться. Его друзья, кто успел уже шумно и демонстративно обрушиться на меня за клевету на этого их друга, были сконфужены и должны были признать, что мои обвинения, основанные на сведениях Бакая, верны.

Через некоторое время я совершенно случайно узнал, по какому адресу на почте «до востребования» получает Кенсинский письма. Я написал ему и попросил прийти ко мне на свидание в кафе на улице Сен-Лазар, и при этом, конечно, я заявил, что не устраиваю ему никакой ловушки.

В условленный час Кенсинский пришел, и я долго мирно беседовал с этой своей жертвой.

Я ему сказал, что приехал за границу вести кампанию против провокации и против департамента полиции и провокацию считаю величайшим злом для России и основой русской реакции. С провокацией мы никогда не помиримся и после революции будем преследовать самым жесточайшим образом провокаторов, где бы они ни были. Для того чтобы хоть несколько загладить то, что он сделал, я ему предложил помочь мне своими сведениями так же, как мне помогал в то время Бакай, а я ему гарантировал в продолжение двух лет получение по двести франков в месяц, чтобы он мог

где-нибудь в Европе или Америке устроиться и зажить новой жизнью.

Кенсинский просил у меня тысячи три единовременно и обеспечение по сто франков в продолжение двух лет. Я ему сказал, что в принципе принимаю его предложение, но просил его торопиться ответом, так как со временем его сведения могут потерять значение.

Я видел колебания Кенсинского. Ему и хотелось принять мои предложения, и он боялся порвать свои связи с департаментом полиции и с охранниками, не получив желательной для него суммы. Но он понимал, что я ему денег не дам прежде, чем он не порвет сношений с ними, а у меня не было наличных денег, чтобы тогда же договориться с ним.

Во время нашего разговора Кенсинский сказал мне:

— Вы нас (он говорил о провокаторах) не понимаете. Вы не понимаете, что мы переживаем. Например, я недавно был секретарем на съезде максималистов. Говорилось о терроре, об экспроприациях, о поездках в Россию. Я был посвящен во все эти революционные тайны, а через несколько часов, когда виделся со своим начальством, те же вопросы освещались для меня с другой стороны. Я перескакивал из одного мира в другой... Нет!.. Вы не понимаете и не можете понять (в это время Кенсинский как будто с сожалением сверху вниз посмотрел на меня), какие я переживал в это время эмоции!

Это слово «эмоции» он произнес, смакуя, и его лицо выражало какое-то особенное блаженство авантюриста.

Он, молодой, очевидно, не хотел легко примириться с моими прозаическими предложениями — помочь мне в моих разоблачениях и после этого уйти в сторону и поработать два-три года над обеспечением своей новой жизни... без эмоций!

Мы расстались. Я обещал его вызвать, когда смогу немедленно дать ему нужные средства.

Мне казалось, приду я к эсэрам, эсдекам, кадетам, ко всем тем, кто верил мне, а таких было много, и кому нетрудно бы-

ло найти пять-шесть тысяч франков, — и они дадут мне возможность вызвать Кенсинского, и я повторю с ним то же, что я сделал с Бакаем. Но сколько я ни ходил и к эсэрам, и к кадетам, я никого не мог убедить, что надо затратить эти гроши, чтобы усилить нашу борьбу с провокацией.

Больше Кенсинского я не видал.

...Привезенный мной из России список провокаторов сильно всех взволновал. Одни верили мне и помогали изобличать провокаторов. Другие — наоборот, защищали обвиняемых мною провокаторов и открыто готовились начать против меня самую беспощадную войну. Только удачное разоблачение Кенсинского и его бегство несколько сдержало пыл моих обвинителей.

Но вот в начале 1908 года я выступил с обвинением против шлиссельбуржца Стародворского[95].

В то же самое время на меня обрушилось давно подготовлявшееся нападение со стороны поляков за мои обвинения против их провокаторов.

Польская социал-демократическая партия, получившая от меня список обвиняемых провокаторов только для расследования, неожиданно опубликовала его в своей газете «Красное Знамя» с прямым указанием, что сведения идут от меня. Статья «Красного Знамени» подняла целую бурю в польской печати, и меня засыпали запросами и протестами, особенно по делу Бржозовского[96].

Таким образом, к лету 1908 года дела Стародворского и поляков-провокаторов выбросили на улицу во всем его объеме вопрос о борьбе с провокаторами.

Можно указать, как на общее правило: при разоблачениях даже самых гнусных и самых опасных провокаторов, по поводу которых потом не могли даже объяснить, как можно было хотя минуту их защищать, все они находили себе горячих защитников, кто ручался за них головой и кто с пеной у

рта обвинял меня в том, что я легкомысленно гублю честнейших людей.

Глава семнадцатая

Обвинение Азефа в провокаторстве — Образование комиссии для расследования слухов о провокации в партии эсэров» — Приезд за границу Лопатина

Весь 1908 год, кроме меня, только очень немногие эсэры знали, что сущность поднятой мной борьбы с провокаторами заключалась вовсе не в тех именах, о которых все говорили и все писали. Для меня и для эсэров борьба с провокаторами и в то время сводилась главным образом к имени, которое в публике было известно только очень немногим — к имени Азефа. Вокруг этого имени у нас все время и велась скрытая для публики жестокая борьба.

Мы знали, какую роль в революционном движении играл Азеф, и для нас было ясно, что, когда его дело будет вскрыто, то оно поглотит все другие дела о провокации и получит огромное общерусское политическое значение.

Когда я приехал в Париж, в новую свою эмиграцию, то первое слово, которое я выговорил, было: Азеф!

С этим словом я, не расставаясь, жил последние полгода в Петербурге и в Финляндии. О нем я думал и днем и ночью, изо дня в день, целыми месяцами.

В Париж я приехал с твердым убеждением, что Азеф — провокатор. Об этом я сейчас же сказал моим ближайшим политическим товарищам и дал знать в партию эсэров. Оттуда сначала окольным путем меня переспросили, правда ли, что я решаюсь обвинять Азефа. Я ответил, что глубоко убежден, что Азеф — провокатор.

В ближайшие после моего приезда дни меня встретил видный эсэр Минор[97] и как о чем-то совершенно невозмож-

ном спросил меня, неужели я действительно серьезно обвиняю Азефа.

Я ему ответил:

— Да!

Я старался ему изложить факты и свои соображения, почему я обвиняю Азефа, как провокатора. К Минору я относился с полным доверием, как к старому своему товарищу, и потому в своем рассказе я не пропустил ничего из того, что знал по этому делу. Но я нисколько не изумился тому, что мои слова не поколебали в Миноре веры в Азефа. Он спросил меня, — хорошо ли я знаю роль Азефа в революционном движении, и подробно рассказал мне об участии Азефа в самых громких террористических делах.

В его рассказе для меня было очень мало нового. Все это я давно знал.

Я расстался с Минором с тяжелым чувством. Он мне говорил о моей страшной ответственности даже не столько лично перед Азефом, сколько перед партией эсэров, которую я гублю своими обвинениями.

Со своей стороны я указал ему, какую он и его партия берут на себя ответственность перед всем освободительным движением, страстно защищая злостного провокатора.

Вскоре после моего разговора с Минором ко мне явились эсэры Натансон[98], и Леонович[99] уже с официальным требованием от имени партии объяснений. Они мне объявили об основании, по решению товарищей из России, тайной следственной комиссии для расследования слухов о провокации в партии эсэров. Приблизительно тогда же я узнал, что умиравший в Швейцарии Гершуни, когда ему сказали о моих обвинениях, очень взволновался и заявил, что как только поправится, сейчас же поедет в Россию вместе с Азефом и своей террористической борьбой они докажут нелепость слухов об его провокации.

Следствие об Азефе велось совершенно тайно. В него были посвящены только очень немногие. В это время я очень близко сошелся и с самым горячим защитником Азефа — Борисом Викторовичем Савинковым[100]; между нами сразу установились самые доверчивые и дружеские отношения.

Тогда же в Париже я встретил группу эмигрантов, так называемых левых эсэров — Гнатовского[101], Юделевича[102], Агафонова[103] и др. На самом деле они были скорее правыми эсэрами. Они вполне были согласны со мной, что в партии существует центральная провокация, а некоторые, с которым я был откровеннее, соглашались с тем, что этот провокатор — именно Азеф, и они стали помогать мне в моих расследованиях.

Огромное значение для всей моей тогдашней деятельности имел приезд заграницу Лопатина летом 1908 г. С ним я был хорошо знаком и раньше, но особенно близко я сошелся с ним именно в этот его приезд за границу. С тех пор в продолжение нескольких лет моя эмигрантская деятельность изо дня в день теснейшим образом была связана с ним.

Первый раз Лопатина я встретил еще летом 1884 г. в Москве.

Он только что тайно приехал из-за границы и скрывался, как нелегальный. Полиция его отыскивала всюду днем с огнем.

Тогдашняя моя встреча с Лопатиным произвела на меня глубочайшее впечатление. Осенью 1884 г. его арестовали, и он был освобожден из тюрьмы только в конце 1905 г. — после двадцати одного года тюремного заключения в Шлиссельбургской и Петропавловской крепостях.

После освобождения ему не разрешили остаться в Петербурге и прямо из тюрьмы выслали под надзор полиции в Вильно, где жил один из его братьев. Я в это время только что вернулся из своей эмиграции и, хотя еще не совсем прочно

легализировался в Петербурге, тем не менее тайно поехал в Вильно повидаться с Лопатиным и провел у него сутки.

Лопатин жадно меня расспрашивал о том, что было за последние двадцать лет, как он выражался, «после его смерти», а мне он рассказывал, как им жилось в Шлиссельбургской крепости. Но я старался больше ему рассказывать, чем его расспрашивать. Лопатин засыпал меня вопросами о лицах и событиях. Он необыкновенно умело расспрашивал меня обо всем том, что ему нужно было знать. Во втором часу ночи мы легли спать в одной и той же комнате. Прежде чем потушить лампу, я показал ему несколько заграничных брошюр. Он быстро, с какой-то жадностью стал их перелистывать.

Я заранее знал, за что он больше всего ухватится. Он почти выхватил у меня из рук брошюру «Процесс двадцати одного»[104].

По этому процессу он судился. Там было рассказано о его аресте и суде над ним. Я видел, что ему уже не до меня. Я лег на свою кровать и, как мне потом рассказывал Лопатин, моментально заснул. Часа через два я проснулся и увидел Лопатина, с каким он волнением, очевидно, не в первый раз перечитывал брошюру о своем процессе.

К Лопатину я приезжал приглашать его принять участие в «Былом» Он, конечно, встретил это издание с горячим сочувствием, но скептически относился к тому, чтобы при тогдашних политических условиях нам удалось вести журнал по намеченной нами программе. Он мне дал чрезвычайно ценные указания для «Былого», и с тех пор я никогда не переставал во всем встречать у него самую горячую поддержку до самого последнего нашего свидания в 1918 году.

…1908–14 гг. мы или жили вместе, или находились в постоянной переписке. В эти годы Лопатин был посвящен во все, что было связано с «Былым», «Общим Делом» и «Будущим» и с моей борьбой с провокацией. Он проявлял не-

обыкновенную энергию и настойчивость. Он толкался во все двери, где только мог, и убеждал всех помогать мне и в литературных моих предприятиях, и в борьбе с провокаторами. Все это он делал неустанно, изо дня в день, в продолжение многих лет, несмотря на свой обычный скептицизм и обычную для него нерешительность в практических делах, когда ему самому приходилось брать инициативу.

Его письма ко мне были полны самой придирчивой и едкой критики по самым разнообразным поводам.

Он постоянно нападал на меня за мое «неисцелимое кадетолюбие» («кадетострастие»), когда я будто бы не решался их «ударить даже цветком», за мою недопустимую мягкость и слабость к Азефам, Богровым[105], за мое доверие к «раскаивающимся», за мой оптимизм и т. д. Но вся огромная переписка моя с Лопатиным ясно показывает, с каким вниманием он следил за всеми моими изданиями, за каждой моей газетной кампанией, за каждой моей связью с этими самыми «раскаивающимися», за разоблачениями провокаторов, от кого он всегда старался меня предостеречь и т. д., и какое огромное значение он придавал тому, что делалось вокруг «Былого» и «Общего Дела». Его замечания всегда были глубоки и выливались в удивительно удачных выражениях, которые блестяще формулировали его мысль и всегда брали быка за рога.

...Особенно сблизило меня с Лопатиным в 1908 г. его участие в суде надо мной по делу Азефа.

Глава восемнадцатая

Переписка через Бакая с охранниками — Письма Бакая к Доброскоку и его ответы — Поддельные документы из охранного отделения

С самого моего приезда в Париж я старался делать все возможное в моем положении для собирания сведений против Азефа.

Я попросил Бакая под мою диктовку написать письмо в Россию к некоторым из бывших его сослуживцев в охранных отделениях и в департамент полиции. Бакай писал им о том, что он теперь находится за границей, с моей помощью устроился, помогает мне в борьбе с провокацией, и убеждал их следовать его примеру: бросить служить у жандармов и приехать за границу, и обещал, что я их тут устрою. О жандармах и провокаторах он писал в самых резких выражениях, чтобы не было никакого сомнения, к чему он призывает своих корреспондентов. Письма эти были или целиком писаны мной, или просматривались мною. Я, конечно, хорошо знал, что большинство этих писем будет немедленно передано по начальству, и если мы оттуда будем получать ответы, то опять-таки их будут писать нам с согласия начальства.

Одно из первых писем Бакай написал Доброскоку, так называемому «Николай-Золотые-Очки», прямо в петербургское охранное отделение. Доброскок раньше был провокатором среди меньшевиков, а в то время заведывал сношениями с провокаторами среди эсэров-террористов.

Я знал, что письмо к Доброскоку, прежде чем попасть к нему, будет тайно прочитано его начальством, Герасимовым, а Доброскок, зная это, прочитав письмо, во избежание неприятностей, сам покажет его Герасимову. Я мог предполагать, что Доброскок-Герасимов или совсем не ответят нам, или, если будут вести переписку, то только со своими специальными целями. Я, конечно, заранее решил не верить ни одному слову в их письмах, но я надеялся использовать эту переписку, как мне это будет нужно, а главное, я хотел, чтобы в охранном отделении через Доброскоков знали, что я их вызываю за границу и где можно меня найти.

Эти мои обращения к охранникам впоследствии мне дали ценные результаты. Кое-кто из служивших в охранке обращались ко мне и присылали мне документы.

Мои связи с Бакаем и с другими выходцами из того мира уже в то время дали для борьбы с провокацией блестящие результаты, и мне казалось, что меня в дальнейшем поддержат не только революционеры, но и кадеты.

На письма Бакая первым ответил нам Доброскок, и затем он стал часто писать. Он обещал прислать документы, приехать в Париж и раскрыть тайны охранных отделений. Предо мной теперь лежит целый ряд его писем. Для меня, конечно, было яснее ясного, что эти письма писаны им с одной целью: ввести меня в заблуждение, и были посланы с ведома Герасимова.

В 1914 г. для 15-го № «Былого» я приготовил было статью под заглавием: «Переписка Вл. Бурцева с генералом Герасимовым», но эта книжка не вышла в свет вследствие моего отъезда в Россию. В предисловии я говорил, что писем Герасимову я никогда не писал и Герасимов никогда не писал мне, но тем не менее переписка между нами существовала. Я диктовал письма Бакаю для Доброскока, а Герасимов диктовал Доброскоку для Бакая, но по существу я писал не Доброскоку, а Герасимову, и Герасимов писал не Бакаю, а мне.

Вот в хронологическом порядке отрывки из некоторых писем Доброскока к Бакаю. В таком же духе были писаны письма и других охранников к нам. Все они были, очевидно, совместным творчеством их авторов с их начальством.

* * *

«Письмо Ваше с приложением получил. Очень Вам благодарен; хорошо, что получил до отъезда в Читу, куда меня командировали с отрядом филеров; пробуду там несколько дней. Писем мне не пишите до моего возвращения. Я Вам сейчас напишу и пришлю кое-что очень интересное и дам новый адрес. Вот было бы несчастье, если бы это Ваше письмо было получено в мое отсутствие, тогда, наверное, при-

шлось бы бежать к Вам. Спешу сообщить Вам на интересующий Вас вопрос. Д. не провокатор. Это ложь. Фамилии Вышинский, Азеф и Гринберг мне даже неизвестны[106]. В разговорах об этих лицах я пришел к убеждению, что они мало известны ведущим розыск. Я думаю, что это тоже гнусная инсинуация. Имейте в виду, что Герасимов, как я знаю, всегда распускал слухи не только в отделении, но даже в департаменте полиции, о лицах, которые в действительности у него никогда не могли служить. И он их сам даже мало знает. Он говорит, что это — его тактика: агентурным явным путем устраивать в партии дезорганизацию. Я помню, что в прошлом году он называл своим сотрудником Виктора Чернова и не приказал ставить за ним наблюдения. Конечно, это ерунда, я этому не верил и не верю, и если в партию дойдут слухи, то на Вашей обязанности лежит святая обязанность предостеречь партию от дезорганизации. Вполне допускаю, что слухи о вышеупомянутых лицах — это проделка негодяя Герасимова, и таким слухам нельзя верить. У нас в Питере среди наших какое-то замешательство, и, знаете, Герасимов что-то злой: рвет и мечет, говорит, что провокация вся пропала. Собирается уходить, и догадываюсь, и его душевное состояние приписываю провалу Л…»

* * *

...Не отвечал Вам, так как все зондировал почву, можно ли ехать за границу или нет. Но, оказывается, совершенно невозможно. Приезжайте в Финляндию, а оттуда — наездом в Питер, и будем видеться. Я Вам гарантирую безопасность путешествия. Очень и очень мне нужно видеться. Вы, может быть, догадываетесь сами зачем, так как знаете из газет, что у нас творится в Питере. Это надо прекратить...»

* * *

...Ваше письмо тронуло меня до глубины души. В нем я увидел луч света, и он зажег во мне страстное желание выбраться из этой тьмы культа и невежества, в которую я попал благодаря тем жестоким ударам судьбы, которые Вы пережили сами. Надежда выбраться опять на свет божий, возвратиться в круг родных для меня товарищей, пожать их честные руки, стать вместе с ними за освобождение народа и, если потребуется, отдать свою жизнь за святое дело, это — тот идеал, который для меня был уже похоронен. Вы — мой спаситель, и я горячо Вас приветствую, что Вы возвращаете меня к жизни настоящего человека! Но научите же меня, что мне делать? Уволиться в отставку и ехать к Вам и товарищам, отдать себя в их распоряжение, или же остаться здесь на время и приносить по возможности пользу?

Да, мой дорогой, меня эта мысль уже полгода мучит, и я не знал, дорогой, к кому мне нужно было идти и к кому обратиться за содействием. Не скрою свою душу — находясь внешне в неприятельском стане, я много оказывал и оказываю облегчения незнающим меня, но близким по плоти и крови товарищам. Какое было бы для меня счастье повидаться с Вами! Но, оставаясь здесь на службе, ехать за границу или Финляндию я не могу. Это вызовет подозрение, под каковым я теперь нахожусь, и, конечно, проследят. Если бы Вы приехали в Финляндию и на несколько часов могли бы приехать в Питер, тогда я бы душу свою отдал.

Но раз нельзя — пишите мне! Наша переписка будет тайна. Я Вам верю, как своему дорогому товарищу, спасающему меня. В отставку же выйти я могу сейчас и приехать тогда на свидание с Вами. Пишите мне свои соображения по этому поводу...»

* * *

...Меня удивляет, что центр не может дознать виновника провала Северной летучки и целый ряд других, а ведь это очень просто.

Когда заболел Карл[107], то у него найдены были улики по отношению «Максима». Судебные власти требовали его ареста, но мой патрон сказал им, что Максим его близкий человек, и только по настоятельному требованию согласился (чтобы не открыть карты суду) обыскать его в Териоках, но предупредив его, и обыск произведен в его отсутствие. Максим — это партийная кличка. Его фамилия — Леонович. Это я знаю наверное. Это проговорился сам Герасимов, который его тщательно оберегает, говоря, что, пока он у нас, никто не страшен, а теперь куда-то его спрятал. У нас его теперь нет. Могу доказать документально. Я пишу это в тех видах, что пролитая кровь требует мщения. Больше писать не буду, если Вы не можете приехать. В таких делах серьезных посредничество неуместно, и прошу писать мне прямо, как писали, и не доверять адресованные мне письма третьим лицам...»

* * *

...Посылаю Вам документ, который я вырвал из дела, хранящегося у Герасимова в ящике письменного стола, случайно оказавшегося незапертым.

Напрасно Вы сообщили о Л. товарищам, не получив от меня этого документа. Вы пишите о тайне. Сообщите, — я весь Ваш. Бежать еще не время. Если не можете приехать, буду присылать ценные вещи. Как бы мне хотелось поговорить и войти в родную семью, но разум требует остаться здесь, где я больше принесу нашему делу пользы.

Вот этот документ, оригинал которого у меня и теперь сохраняется.

Министерство Внутрен- *Лично.*

них Дел. Департамент Полиции.
По особому отделу.
1 декабря 1907 г.
№ 13565

Совершенно секретно.

Начальнику С.-Петербургского Охранного Отделения.

По докладу представления Вашего от 27 ноября 1907 года за № 30334, Г. Товарищу Министра Внутренних Дел, Сенатору Тайному Советнику Макарову, Его Превосходительство признал возможным, в виду указанных услуг по арестованию в пределах Финляндии некоторых членов Северного боевого летучего отряда, назначить Вашему сотруднику Василию Леоновичу, денежную награду в сумме 1500 рублей.

Об отпуске означенной суммы в распоряжение Вашего Превосходительства вместе с сим Департаментом Полиции сделано соответствующее распоряжение.

За Директора: *С. Виссарионов*.

За Заведывающего Особым
Отделом: *Пешков* (?)

Не делайте распространения большого этой бумажки, чтобы еще не узнал Герасимов. С нескрываемой радостью сообщаю о другом провокаторе центра, кажется, как говорит Герасимов, агент ЦК партии социалистов-революционеров Z.[108]. Он в 1906 г., кажется, был арестован на собрании комитета. Герасимов с ним долго беседовал наедине и, очевидно, убедил, потому что его выпустили под залог, а затем по суду оправдали, и он уехал за границу. Мои данные, приведшие к такому умозаключению, следующие. Во время проживания Z. в Финляндии, в Петербурге Герасимов с пеной у рта не позволял вести наблюдения за ним, бережно охраняя его (обычная тактика всех этих негодяев!). В первых числах мая Z.

был подчинен наблюдению. Заботливость Герасимова по отношению к Z. поразительна. Он циркулярно дал в некоторые отделения телеграммы, куда — не знаю, от меня скрыли. Писали ее вместе с Комиссаровым. Чтобы наблюдаемый Z. не был арестован, наблюдение велось питерскими филерами, которые и уехали.

Я полагаю, что для нас с Вами, побывших на службе в таких почтенных учреждениях», смысл и значение всего этого достаточно понятен.

Как тяжело, дорогой, находиться в этой атмосфере. Просимое вами все по возможности доставлять буду.

Не торопитесь. Пока пишу о центре, а дальше будет все, так надо, если знаете почему...»

* * *

...На днях послал Вам письмо, получили ли Вы? Посылаю пока две карточки Карла и Распутиной[109], членов Северной летучки, остальные буду доставать и высылать по возможности. Относительно Вас был только лишь циркуляр, что скрылись и о розыске, и больше ничего; пока молчат. Вы спрашиваете о количестве агентуры. Конечно, я всех не знаю, но я знаю, что центральная агентура интеллигентной силы у Герасимова и Комиссарова. Все усилия приму по возможности узнать, кто они, если не точно, то хотя по догадкам постараюсь их выудить, а что же касается рабочей агентуры, то она у меня, но она очень слаба. Я их в таком направлении веду, что они скоро все разбегутся обратно. О них сообщу Вам при личном свидании. Да это, кажется, и неинтересно. Относительно моей поездки за границу скажу опять, что это пока невозможно, провал безусловный и не даст нам достигнуть намеченной цели обезоружить прохвостов. При личном свидании я все Вам объясню. Надо не забывать, что служба моя в этом хорошем учреждении принесет еще пользу очень большую. На днях пересмотрел дело ареста на Фурштадской № 20 у Халютиной военно-организационного бюро партии социалистов-революционеров не подлежит сомнению, это дело Леоновича — безусловно...»

* * *

Когда Доброскок и Герасимов поняли, что ловушки нам они устроить не смогут, они прекратили переписку с нами. По поводу этой переписки Доброскок и другие наши такие же корреспонденты имели большие неприятности, и им приходилось оправдываться перед своим начальством. Вскоре после прекращения нашей переписки тот же самый Доброскок для своей реабилитации (в начале 1909 г.) опубликовал в газетах следующее письмо.

«Прочитав в газетах речь члена Государственной Думы Покровского[110], лидера думской социал-демократической фракции, в которой он назвал меня провокатором, я настоящим моим заявлением поставляю в известность наших пресловутых социал-демократов, что я с детства воспитан в православной вере, в любви и беспредельной преданности престолу и отечеству, почему и не мог быть социал-демократом.

Если же я номинально назывался социал-демократом, то для того, чтобы проникнуть в эту преступную шайку для осведомления правительства о преступной ее деятельности. Звание социал-демократа в моих глазах преступно и позорно, и я таковым никогда не был.

Примите и проч

И. В. Доброскок».

Мои тогдашние обращения через Бакая к охранникам и моя борьба с ними в литературе имели свои результаты. Одни из охранников, как Герасимов, были удалены, другие, как Доброскок, поняв, что им придется со временем серьезно отвечать за их занятия, сами уходили в сторону. Доброскок с разрешения царя переменил фамилию на Добровольского и поступил на службу полицмейстером в Петрозаводск.

Среди охранников мой призыв поселял недоверие друг к другу.

Глава девятнадцатая

Бакай об Азефе — Встреча Бакая с Ратаевым — Свидание Бакая с Донцовым в Германии — Поездка Азефа в Варшаву в 1904 г. — Ложное обвинение охранниками Леоновича

Ко мне в редакцию «Былого» в Париже ежедневно приходил Бакай. Я его часами подробно расспрашивал о деятельности охранных отделений; в его рассказах я старался уловить все, что так или иначе могло быть полезным для разоблачения Азефа. О своих обвинениях Азефа я по различным сооб-

ражениям долго не говорил Бакаю и даже до поры до времени при нем не произносил имени Азефа.

Но однажды я просил Бакая рассказать мне то, что в охранке известно о Чернове, Натансоне и других видных эсэрах; среди них я упомянул имя Азефа.

Бакай обстоятельно мне ответил о Чернове, Натансоне, но когда я упомянул об Азефе, он сказал:

— Азефа я не знаю!

Я ему сказал, что он — эсэр.

— Нет, я такого имени не слышал! — ответил он мне.

Меня это поразило, и я замолчал. На следующий день я снова как бы случайно вернулся к Азефу и сказал Бакаю:

— Как это Вы не знаете Азефа? Он очень видный эсэр. Его, несомненно, полиция разыскивает!

Бакай как-то недоверчиво выслушал меня и еще раз повторил:

— Нет, такой фамилии я не слышал! У нас о нем никогда не было разговора! Его у нас не разыскивали!

Еще через день, подумав, я решил еще прямее сказать Бакаю об Азефе.

— Как же Вы, — сказал я Бакаю, — не знаете об Азефе? Он не только видный эсэр, но он — глава Боевой Организации!

— Странно — сказал, задумавшись, Бакай. — Но может, Вы, Владимир Львович, смеетесь надо мной? Или, может быть, конспирируете? Мне не знать главу Боевой Организации — это значит все равно, что не знать фамилии директора департамента полиции!

Бакай, очевидно, думал, что я выпытываю его и для чего-нибудь говорю ему о каком-то несуществующем Азефе. Тогда я решился до конца быть откровенным с Бакаем:

— Нет, Азеф — именно социалист-революционер. Это он — глава Боевой Организации. Это — тот, кого я уже целый год обвиняю в том, что он — главный агент-провокатор среди социалистов-революционеров.

Тогда Бакай сразу оживился и сказал мне:

— Да Вы давно бы мне это сказали! Если Азеф видный социалист-революционер, да еще глава Боевой Организации, действующей много лет подряд, близкий человек для Чернова, Гершуни и Натансона, и у нас о нем не разговаривают и его не разыскивают, это значит: он — наш сотрудник!

Бакай, даже когда говорил со мной о департаменте полиции, охранниках и т. д., никогда не мог отделаться от слов: «мы», «у нас», «наши сотрудники» и т. д.

Я подробно рассказал Бакаю все главное, что знал об Азефе. Он внимательно выслушал меня и в конце нашего разговора категорически заявил, что теперь для него Азеф — провокатор и что в этом не может быть никакого сомнения.

Выслушав Бакая, я в свою очередь вполне согласился с тем, что он прав. Если бы департамент полиции действительно разыскивал Азефа, то он, Бакай, не мог бы не знать его имени. Если же Азефа не разыскивали, значит им не надо было его разыскивать, так как он был их агент.

Затем мы с Бакаем установили, что все имевшиеся до сих пор у нас сведения о существовании какого-то крупного провокатора среди социал-революционеров — Раскина — могут относиться именно к Азефу.

С этого дня в продолжение целых месяцев мы с Бакаем обсуждали все, касающееся Азефа, и старались подыскать все новые и новые, хотя бы косвенные улики для его изобличения.

В Париже, в отставке, жил известный охранник Ратаев, бывший заведующий заграничной агентурой, кто не мог не знать всей правды об Азефе.

Я послал Бакая к Ратаеву, кого он знал по службе в департаменте полиции, чтобы, если Ратаев его примет, постараться как-нибудь свести разговор к Азефу. Мы долго обдумывали с Бакаем, что и как ему говорить с Ратаевым.

Ратаев принял Бакая. В разговоре с ним Бакай, смеясь, как бы между прочим, как это и было у нас условлено, сказал Ратаеву:

— А какой вам удар готовит Бурцев! Он хочет разоблачить вашего главного эсэровского агента Азефа!

— Какого Азефа? — несколько смущенно спросил Ратаев — Никакого Азефа я не знаю!

Потом по какому-то поводу Бакай упомянул о тяжелом положении жены Азефа, в виду обвинения ее мужа.

— Так неужели Бурцев и жену Азефа обвиняет в провокации? — спросил Бакая Ратаев.

Бакай сказал Ратаеву, что я обвиняю только Азефа, а не его жену. Ратаев еще раз смущенно повторил:

— Нет, никакого Азефа я не знаю!

Когда Бакай вернулся от Ратаева, я просил его в мельчайших подробностях припомнить мне весь свой разговор с ним. Мы долго комментировали каждое слова Ратаева.

Для обоих нас было вне сомнения, что Ратаев не мог не знать Азефа или как своего агента, или как революционера и что, если он отказывался незнанием Азефа, то лишь для того, чтобы спасти его. Если бы я ошибался в своих обвинениях Азефа, Ратаев, конечно, воспользовался бы случаем и со своей стороны что-нибудь через Бакая подсказал мне, что еще более могло бы убедить меня в том, что Азеф — агент.

В ответ на свои письма в Россию Бакай получил, между прочим, письма еще от одного из своих знакомых, Донцова, служившего тогда в виленском охранном отделении.

Из его писем так же, как и из писем Доброскока, ясно было, что он пишет Бакаю под диктовку своего начальства. Донцов не соглашался приехать в Париж, а предложил, чтобы я приехал повидаться с ним в Берлин. Я понял, что это ловушка, но ответил, что согласен и приеду туда вместе с Бакаем. К назначенному времени в Германию выехал один Ба-

кай с моими инструкциями. Около отеля, в котором было у него назначено свидание с Донцовым, Бакай сразу заметил слежку. Ловушка была, очевидно, устроена совместно русской и немецкой полициями в виду возможного моего приезда и приезда Бакая.

Бакай не показал вида Донцову, что он понял, что ему устроена ловушка, и стал беседовать с ним.

На прямой вопрос об Азефе Донцов отозвался незнанием даже этой фамилии и затем, очевидно, по сделанным ему указаниям, стал рассказывать о провокаторах явно ложные вещи, чтобы навести меня на ложный след.

Когда Донцов кончил свой рассказ, Бакай прямо ему сказал, что все, что он говорил, — неправда, что он подослан к нам охранниками, что даже из его слов видно, что Азеф — провокатор. Затем Бакай от моего имени заявил Донцову, что я в любое время готов встретиться с ним в Париже и устрою его, если он скажет правду об охранке.

Донцов продолжал уверять, но уже только для виду, что его начальство не знает о его поездке, а кончил тем, что сказал, и на этот раз совершенно искренно, что если бы ему было хорошо заплачено, то он сложил бы в чемоданы все документы своего охранного отделения... и приехал бы ко мне в Париж.

— Но, — добавил он, — Бурцеву революционеры не верят (дело шло о разоблачениях провокаторов) и у него денег нет! Мы это знаем.

Чтобы Донцов приехал в Париж со всеми документами своего охранного отделения, ему нужно было заплатить тысяч двадцать пять. Совершенно такие же заявления я впоследствии не раз слышал и от многих других очень сведущих охранников.

После разговора с Донцовым Бакай неожиданно для него скрылся из отеля, сел в поезд и вернулся в Париж.

Когда Бакай в Германии вел переговоры с Донцовым, я был в Швейцарии, и еще там получил от него такую открытку (28 8 08): «Сегодня выезжаю домой. Могу только сказать: Да! Во всех отношениях штучка!»

В Париже я с Бакаем подробно обсудил все, что ему говорил Донцов. Некоторые, даже мелкие, замечания такого примитивного дипломата, как Донцов, ясно говорили мне, что охранники хотели скрыть и в чем хотели меня обмануть.

Разговор Бакая с Донцовым для меня был новым подтверждением того, что Азеф — агент департамента полиции.

Еще в Петербурге, в 1906 г., Бакай сообщил мне, со слов видного охранника Медникова, что в 1904 г. в Варшаву приезжал эсэровский провокатор Раскин и ему нужно было повидаться с инженером Д. Раскин зашел к нему, но тот почему-то не пожелал с ним иметь дела. Перед самым моим отъездом из Петербурга, в марте-апреле 1907 г., когда я только что начинал разоблачение Азефа, я написал в Варшаву этому инженеру и просил его приехать ко мне в «Былое» поговорить об одном литературном деле. Д. приезжал ко мне, но из излишней конспирации не назвал своего имени и говорил о себе в третьем лице, что он приехал от Д. узнать, в чем дело. Постороннему лицу я не считал возможным даже намекнуть, зачем мне нужно видеть этого инженера. Затем мне скоро пришлось скрыться из Петербурга, и я не мог более вызвать к себе Д. Все попытки из-за границы через третьих лиц выяснить у него вопрос о провокаторе ни к чему не приводили. Я его смог вызвать к себе на свидание в Швейцарию только летом 1908 г.

Мы с Д. встретились в Лозанне, и я ему поставил вопрос, не был ли, приблизительно в такое-то время, у него приехавший из-за границы в Варшаву какой-нибудь эсэр. Д. сначала уверенно стал мне говорить, что этого и не могло быть, так как в это время он с революционерами никаких отноше-

ний не поддерживал. Я был очень озадачен его словами и мог подумать, что в сведениях Бакая, полученных им со слов третьих лиц, была какая-то ошибка.

Затем Д. неожиданно мне сказал:

— Но приблизительно в это время ко мне не на квартиру, а в мою контору заходил какой-то эсэр, но он мне показался до такой степени подозрительным, что я его принял за шпиона и прогнал.

Об этом господине он мог сказать только то, что его прислал Рубакин[111]. В это время в Лозанне как раз находился Рубакин. Мы вызвали Рубакина и спросили, какого эсэра он тогда-то посылал в Варшаву к Д. Не придавая никакого особенного значения своему ответу, Рубакин сказал:

— Азефа!

Я сопоставил рассказ Бакая со сведениями Рубакина и Д., и для меня было совершенно ясно, что в обоих случаях речь шла именно об Азефе.

Мои собеседники только тогда поняли, почему это рубакинское слово «Азеф» так меня взволновало, когда я им объяснил, в чем я обвиняю Азефа, и почему для меня было важно установить, что в Варшаве у Д. был именно Азеф.

В то же самое время я установил, что на Азефа, как агента департамента полиции, были прямые указания еще в России в 1903, 1905 и 1907 годах.

Все собранные мною сведения, касающиеся Азефа (переписка с Доброскоком, о свидании Бакая с Донцовым, о приезде Азефа в Варшаву, разговор с Ратаевым, об обстоятельствах обыска у Бакая в Сибири, об указаниях охранников на Азефа в 1903 г., 1905 и 1907 гг. и т. д.) я летом 1908 г. подробно излагал в комиссии, назначенной для расследования слухов о провокации в партии эсэров. В ней участвовали неизбежный Натансон, Зензинов[112] и др. Меня выслушивали, все записывали, находили всему объяснения, благоприятные для Азефа, и во

всем прежде всего видели интриги против него департамента полиции. Вера в Азефа ни у кого из членов следственной комиссии поколеблена не была.

Но для меня и до сих пор непонятны некоторые эпизоды в расследовании эсэрами дела Азефа.

В комиссии я, например, подробно передал свои разговоры с Траубергом и Лебединцевым об Азефе, о том, что они еще в 1907 г. допускали вероятность моего обвинения Азефа. Трауберг даже сообщил мне о совершенно неизвестном мне тогда саратовском письме, в котором Азеф обвинялся в провокации, и обещал расследовать этот эпизод.

Как мне говорили эсэры в комиссии, а потом и на суде, адвокаты, через которых они имели сношения с Траубергом и с Лебединцевым во время их суда, сообщали обоим им, каждому в отдельности, о том, что на воле начато расследование о центральной провокации у эсэров. Трауберг и Лебединцев, оба выданные, несомненно, Азефом, по словам этих адвокатов, верили в существование центральной провокации, высказывали свои подозрения на различных лиц, но ни один из них не высказал подозрений на Азефа. Трудно сказать, объясняется ли это тем, что адвокаты, сами слепо веровавшие в Азефа, передавали по поручению партии Траубергу и Лебединцеву слухи о провокации в такой обстановке, что те перед смертью (оба они вскоре были повешены) не решились поверить своих подозрений на Азефа, или дело объясняется, может быть, тем, что сообщения этих адвокатов до нас дошли в пристрастной передаче слепых и заинтересованных людей.

Трауберг и Лебединцев в разговоре со мной не только допускали, что я прав, обвиняя Азефа в провокации, но в конце концов — особенно Трауберг — соглашались со мной, что Азеф — провокатор. Я не могу представить себе, чтоб обстановка их ареста не укрепила бы их в обвинении Азефа.

На это молчание Трауберга и Лебединцева насчет Азефа с особенным подчеркиванием указывали эсэры на моем суде, когда возражали мне. Они ссылались на мнение их обоих, как на мнение людей, кто лучше, чем кто-нибудь, мог догадываться, кем они выданы, и если они даже в тюрьме после моего предупреждения все-таки не подозревали Азефа, то, значит, они ни на одну минуту не допускали против него такого обвинения.

В связи с комиссией по расследованию моего обвинения Азефа отмечу один эпизод, связанный с именем эсэра Леоновича.

Леонович не состоял членом этой комиссии, но был одним из ее инициаторов. Именно с ним и приходил ко мне Натансон объявить об ее образовании. В партии эсэров Леонович играл вообще видную роль.

Знакомя постепенно комиссию со всеми накопившимися у меня сведениями и соображениями относительно Азефа, я сообщил и о том, что получил от Доброскока, несомненно, поддельный документ, обвиняющий видного эсэра в провокации, и устно во всех подробностях познакомил комиссию с его содержанием. Я только не называл имени эсэра, о ком шла речь. Я доказывал, что цель документа одна: спасти Азефа от моего обвинения и набросить сомнение на людей невиновных. Для меня вся переписка с Доброскоком и в частности этот им присланный документ были новыми яркими доказательствами того, что Азеф — провокатор.

В комиссии очень заинтересовались документом и просили, чтобы я его им показал и назвал упоминаемое в нем имя. Но я отказался это сделать.

Через несколько дней ко мне пришел Савинков, если не ошибаюсь, тоже постоянно участвовавший в комиссии Он сказал мне, что вполне согласен со мной, что в партии эсэров несомненно есть центральная провокация, но, конечно, этим

провокатором не может быть Азеф, а что надо искать какое-нибудь другое лицо. Он спросил меня, не подозреваю ли я кого-нибудь, кроме Азефа, среди эсэров в провокации и почему я не допускаю возможности, что лицо, указанное в документе Доброскока, действительно провокатор.

Я ему ответил, что среди известных мне центральных деятелей эсэров я не вижу никого, кого бы я мог заподозреть в провокации, а указанию в документе Доброскока не придаю значения, потому что документ — несомненно подложный и прислан, чтобы навести меня на ложный след.

При следующей нашей встрече Савинков снова стал просит, чтобы я его познакомил с этим документом. Я долго отказывал ему в этом, но в конце концов, взяв слово не разглашать упоминаемую фамилию, показал его Савинков, к моему изумлению, познакомившись с документом, стал настойчиво просить у меня разрешения показать документ комиссии. В комиссии тоже продолжали о том же просить меня. После данного мне слова, что этим документом не воспользуются для обвинения упоминаемого лица, я его передал в комиссию. Со мной, по-видимому, согласились, что документ — подложный, но мы разошлись в его толковании. Я утверждал, что им хотят спасти Азефа от моего обвинения, а мне указывали, что тут кроется тончайшая политика охранников. Выгораживая Азефа, они этим самым хотят укрепить меня в моем его обвинении!

К Леоновичу отношение у эсэров вначале не переменилось. Он продолжал принимать участие в делах, был на съезде в Лондоне, но со временем у некоторых эсэров к нему я стал замечать какое-то осторожное отношение, но не более.

После разоблачения Азефа эсэры начали расследовать, не участвовал ли кто-нибудь из их товарищей вместе с Азефом в сношениях с департаментом полиции или, по крайней мере, не знал ли кто-нибудь об этом? Эти расследования начались

едва ли не с Леоновича. Против него возбудили формальное расследование и вокруг его имени подняли шум. Вопреки нашему договору, эсэры воспользовались в деле Леоновича документом Доброскока. Когда по этому делу допрашивали меня, то я, разумеется, прежде всего выступил с решительным протестом против того, что в этом деле ссылались на заведомо подложный документ. Обвинения против Леоновича, как и следовало ожидать, были выдумкой. Доброскока и сделаны были по указанию Герасимова.

Глава двадцатая

Конференция эсэров в Лондоне — Участие в ней Азефа — Привлечение меня эсэрами к суду — Мои встречи с Лопухиным в Петербурге и за границей

В августе 1908 г. в Лондоне собралась тайная эсэровская конференция или съезд. Там должны были поднять вопросы о борьбе с провокацией, о политическом терроре и т. д.

Совершенно неожиданно из Лондона, со съезда, когда он еще не кончился, в Париж приехал бывший шлиссельбуржец М. Фроленко[113], живший у меня в «Былом», и по секрету сообщил мне, что на съезде находится глава Боевой Организации» — Азеф.

Фроленко не подозревал, какое ошеломляющее известие он принес мне. Я сейчас же отправился на почту и послал в Лондон письмо-экспресс одному из участников съезда А. Теплову. Я ему писал, что я самым категорическим образом обвиняю члена съезда Азефа в том, что он провокатор. Я добавил в письме, что по поводу Азефа идет партийное расследование и хотя, по просьбе эсэров, постановлено мое обвинение держать в тайне, но тем не менее я считаю своим долгом об этом сообщить ему, раз эсэры сочли возможным на партийный конспиративный съезд пригласить Азефа, по-

ка дело его не кончено, и не предупредили съезд об имеющихся против него тяжких обвинениях.

Оказалось, что Теплов, как и большинство других участников съезда, даже не слышал, что Азеф обвиняется в провокации. Для него Азеф был революционер, стоящий выше всяких подозрений, видный член партии эсэров, глава «Боевой Организации». С моим письмом он отправился к организаторам съезда и потребовал объяснений. Эсэры прежде всего обрушились на меня, и мои обвинения Азефа называли безумством и клеветой, не требующей даже опровержения. Они убедили Теплова не поднимать на съезде этого вопроса и сообщили ему, что они немедленно привлекают меня к суду за клевету.

Для широкой публики и после эсэровского съезда мое обвинение Азефа в провокации продолжало оставаться тайной. Многие только знали, что я обвиняю в провокации какого-то видного члена партии эсэров, и думали, что я обвиняю Чернова.

На одном из многочисленных колониальных собраний в Париже, где Чернов давал отчет о лондонском конгрессе, он с негодованием говорил о распространяемой клевете против наиболее видного члена их партии и о том, что до последнего времени она была неуловима, но теперь удалось поймать «ужа за хвост» и клеветник скоро будет разоблачен и пригвожден к позорному столбу. Не все знали, кого обвиняют в провокации, но все знали, что в клевете Чернов обвиняет меня. Своими нападками на меня Чернов сорвал тогда у своей аудитории много бурных аплодисментов.

Когда в Лондоне заканчивалась эсэровская конференция, для моего расследования об Азефе произошло очень важное событие.

Еще в самом начале моей борьбы с провокацией я в Петербурге в 1906–1907 гг. несколько раз виделся с А. А. Лопу-

хиным, бывшим директором департамента полиции. Он бывал у нас в редакции «Былого» Я и тогда не раз старался свести разговор с ним на борьбу с провокацией, но я никогда не ставил ему этих вопросов прямо. Лопухин, охотно разговаривавший со мной на разные темы, видимо, уклонялся от рассказов о провокаторах.

В самом начале 1908 г., когда я скрывался в Финляндии, я послал в Петербург к Лопухину Софию Викторовну Савинкову сказать ему, что я на днях вынужден уехать за границу и хотел бы с ним переговорить. Лопухин приехал ко мне в Териоки в гостиницу, где я под чужим именем занял комнату специально для свидания с ним. Но он очень торопился и мог остаться у меня всего несколько минут, только от поезда до поезда: у него была, кажется, больна жена и ему надо было поскорее вернуться в Петербург. На этот раз я ему поставил вопрос о провокаторах прямее, чем это делал раньше. Но он уклонился от определенных ответов и только сообщил мне, что в департаменте полиции обо мне сведения получались через Бейтнера[114]. Я сказал ему, что это мне давно известно. Лопухин пообещал подробнее о провокации поговорить со мной на свободе за границей, где он должен был скоро быть, и ушел. Я в такой обстановке не смог ему тогда же прямо поставить мучивший меня вопрос об Азефе, а Лопухин сам ничего о нем сказать, очевидно, не хотел. Я просил его дать о себе знать, когда он будет за границей.

Лопухин за границу приехал только летом 1908 г. и поселился в немецком курорте близ Кельна. Посланное им письмо пришло ко мне чуть ли не через месяц, благодаря тому, что парижская улица Люнен, где я жил, — новая и была плохо известна на почте. В начале сентября 1908 г. неожиданно для себя через одного нашего общего знакомого Б. я узнал, что Лопухин через два дня едет в Петербург через Кельн. К этому дню утром я приехал в Кельн и стал осматривать поез-

да, приходившие с курорта, где жил Лопухин. С одним из таких поездов Лопухин действительно приехал и сейчас же пересел в поезд, который шел в Берлин. Я сел в тот же поезд, но подошел к Лопухину только тогда, когда поезд тронулся.

Я был вполне убежден, что Лопухин в это время не имел ничего общего с правительством и, следовательно, я мог с ним говорить, как обыкновенно говорят со всеми независимыми людьми, на самые щекотливые политические темы, не опасаясь того, что частная беседа станет достоянием кого не следует.

Лопухин прекрасно понимал, зачем я его хотел видеть и о чем я хотел его расспросить. Этого он не мог не понять еще из разговора со мной в Териоках. Он легко мог уклониться от встречи со мной за границей, однако он этого не сделал, и я надеялся, что в частной беседе он даст нужные мне указания насчет Азефа.

Но я, конечно, понимал, что Лопухину нелегко было делать разоблачения об Азефе. Если бы было легко, то он и без меня сам давно бы это сделал. Еще в 1906 г., если не ошибаюсь, Иосиф Гессен[115] спросил его, каким образом департамент полиции узнал о присутствии Милюкова[116] на тайном съезде русских политических организаций в Париже в 1904 г.[117]. Вместо того, чтобы сказать, что на этом съезде Милюков заседал вместе с Азефом и об этом Азеф прислал в департамент полиции собственноручный подробный доклад, Лопухин стал довольно сложно объяснять полученные сведения перехваченными письмами, слежкой и т. д. Потому ли не разоблачал тогда Лопухин Азефа открыто (или хотя бы частным образом), что это неудобно было ему по его положению, чтоб его не обвинили в разглашении государственных тайн, или из обычной осторожности — это трудно сказать. Но, очевидно, тоже по одной из этих причин он в Териоках не выговорил мне слова «Азеф» или не сделал тогда возможным

мне самому выговорить это слово. Поэтому же в нашем разговоре между Кельном и Берлином на мой вопрос, где Ландезен, Лопухин неопределенно сказал, что он где-то живет в Германии.

Если бы я тогда узнал от него, что Ландезен и Гартинг — одно и то же лицо, то, вернувшись в Париж, я немедленно, еще в 1908 г., арестовал бы Ландезена и тогда же, а не в 1909 г., начал бы против него дело. Поэтому же Лопухин мне тогда не сказал ничего о Жученко[118], и я о ней узнал чуть не через год после свидания с Лопухиным. А между тем у Лопухина в то время были совершенно точные сведения о многих провокаторах, которых я разыскивал с таким трудом, — в том числе он хорошо знал и о Жученко.

Если бы из Берлина я приехал в Париж с лопухинскими указаниями, что Гартинг—Ландезен, и тогда же разоблачил бы его, то все, даже эсэры, сразу поверили бы тому, что сказал мне Лопухин об Азефе. Тогда Лопухину не нужно было бы видеться с эсэрами в Лондоне, моя беседа с ним осталась бы между нами и ему самому не пришлось бы побывать в Сибири. Многое было бы иначе!

Полагая, что и в данном случае Лопухин сам не пойдет ко мне навстречу в разоблачении Азефа, я, прежде чем спросить его об Азефе прямо, постепенно и обстоятельно знакомил его со всей обстановкой, в которой разыгралось тогда азефское дело.

Начиная свой рассказ, я не сомневался, что Лопухин о роли Азефа среди эсэров знал очень мало, и я ему мог сообщить об этом много нового и важного, что могло бы его побудить легче подтвердить мое обвинение Азефа.

Кроме того, своим подробным рассказом об Азефе я хотел показать Лопухину, что он мне не делает ровно никаких разоблачений. Это, казалось мне, тоже могло ему помочь легче решиться подтвердить мои сведения об Азефе. Если бы

ему когда-нибудь пришлось отвечать за разговор со мной, то он с полным основанием мог бы сказать, что он никаких разоблачений не делал, что я и без него все знал и что он не мог отрицать того, что я ему говорил в частном разговоре.

Глава двадцать первая

Мой разговор с Лопухиным между «Кельном и Берлином»

Свой разговор с Лопухиным об Азефе я старался так построить, чтобы независимо от того, как бы он ни отнесся к моим вопросам, я все-таки получил бы тот ответ, который мне был нужен.

Я познакомил его с характеристикой личности всех тех эмигрантов, которые играли главную роль в азефской истории, и привел имена, на которые мне в продолжение нашего дальнейшего разговора пришлось ссылаться.

Мы вели, по всей видимости, обыкновенный литературно-политический разговор вроде тех, которые в Петербурге, например, ведутся ежедневно между литераторами, каким был я, и общественными деятелями, каким был Лопухин. Сколько подобных разговоров мне пришлось вести и раньше как с самим Лопухиным, так и со многими другими! Без сомнения, и самому Лопухину наша тогдашняя беседа вначале казалась обыденной, мало чем отличающейся от прежних бесед. Хотя он, конечно, не мог не видеть, к чему я клоню свой разговор, но сам он не шел ко мне навстречу.

Когда я почувствовал, что я уже достаточно познакомил его со всем тем материалом, которым мне придется оперировать в рассказе о самом Азефе, я сказал Лопухину, что страшные провалы, бывшие за последние годы в эсэровской партии, объясняются, по моему, тем, что во главе ее Боевой Организации стоит агент-провокатор.

Лопухин как будто не обратил внимания на эти мои слова и ничего не ответил. Но я почувствовал, что он насторожил-

ся, ушел в себя, точно стал ждать каких-нибудь нескромных вопросов с моей стороны.

— Позвольте мне, Алексей Александрович, — обратился я к Лопухину, — рассказать Вам все, что я знаю об этом агенте-провокаторе, о его деятельности как среди революционеров, так и среди охранников. Я приведу все доказательства его двойной роли. Я назову его охранные клички, его клички в революционной среде и его настоящую фамилию. Я о нем знаю все. Я долго и упорно работал над его разоблачением и могу с уверенностью сказать: я с ним уже покончил. Он окончательно разоблачен мною! Мне остается только сломить упорство его товарищей, но это дело короткого времени.

— Пожалуйста, Владимир Львович! Я Вас слушаю, — ответил мне Лопухин.

Что мог сделать в данный момент Лопухин? Ему оставалось, как выразился на суде его защитник Г. Пассовер, прервать со мной разговор и попросить меня удалиться из его купе, или же воспользоваться правом, принадлежащим даже русскому человеку, слушать за границей то, что ему говорит его собеседник.

Лопухин выбрал второе, — и это было его единственным преступлением. Все, что дальше было сделано Лопухиным, все неизбежно вытекало помимо его воли из того факта, что я, уже разоблачив Азефа, стал ему говорить о роли этого предателя, а он слушал меня.

Он мог даже не произнести имени Азефа, — я все равно из его молчания понял бы, что он знает Азефа, как агента полиции, а когда я вернулся бы в Париж, я верно истолковал бы молчание Лопухина, как свидетельство против Азефа.

Более того, если бы Лопухин, поняв, что я свою, по-видимому, простую вначале, обывательскую беседу свожу к щекотливому вопросу об Азефе, захотел бы, под тем или иным предлогом, прервать разговор со мной, я бы не отпу-

стил его ни в коем случае, не добившись вольного или невольного признания насчет Азефа.

Я был убежден, что Лопухин знает правду об Азефе, и, увидев его в Кельне, я был уверен, что прежде, чем мы приедем в Берлин, я для дальнейшей своей борьбы с Азефом буду иметь «новый факт» — заявление Лопухина.

И действительно, в конце концов, Лопухин выговорил и не мог не выговорить слово «Азеф».

Все, что было далее: мое сообщение об этом разговоре с Лопухиным на суде в Париже, посещение Лопухина Азефом, встречи эсэров с Лопухиным в Петербурге и Лондоне, его письмо к Столыпину[119], а, следовательно, его арест, суд, ссылка — все это было неизбежным следствием того, что между Кельном и Берлином Лопухин произнес слово «Азеф».

В своем разговоре с Лопухиным я, ни разу не называя ему Азефа по имени, в продолжение четырех часов в мельчайших подробностях рассказывал ему о тех путях, которыми дошел до обвинения Азефа в провокации, и всех тех мучительных, сложных перипетиях, которые мне пришлось переживать во время борьбы с этим провокатором. Я привел ему все доказательства моих обвинений, рассказал о своих спорах с защитниками Азефа, познакомил со своими аргументами, точно и во всех деталях с хронологическими данными восстановил деятельность Азефа, как охранника, назвал его департаментские псевдонимы, указал квартиры, где он имел свидания.

Чем дольше я говорил, по тому, как он слушал, я видел, что он понял, о ком идет речь, и что ему эта фигура очень хорошо знакома. И его молчание было для меня равносильно признанию.

После каждого нового доказательства я обращался к Лопухину и говорил:

— Если позволите, я Вам назову настоящую фамилию этого агента. Вы скажете только одно: да или нет?

На такой вопрос Лопухин всякий раз мне отвечал молчанием. Но я видел, что он вовсе не хочет избежать разговора со мной. Это ему тогда было бы сделать не трудно.

Тогда, после небольшой паузы, я снова обращался к нему с вопросом:

— Позвольте мне рассказать Вам еще одну подробность о деятельности этого агента.

— Пожалуйста, пожалуйста! — предупредительно отвечал он.

Интерес к рассказу у Лопухина, видимо, возрастал. Я видел, что он был потрясен совершенно неожиданным для него рассказом об Азефе, как о главном организаторе убийства Плеве.

С крайним изумлением, как о чем-то совершенно недопустимом, он спросил меня:

— И Вы уверены, что этот агент знал о приготовлении к убийству Плеве?

— Не только знал, — отвечал я, — но он был главным организатором этого убийства. Ничто в этом деле не было сделано без его ведома и согласия. Он три раза приезжал для этого дела в Петербург и осматривал позиции, занятые революционерами. Это он непосредственно руководил Сазоновым.

Тут я подчеркнул, что обо всех этих обстоятельствах знаю со слов Савинкова, личность и роль которого были хорошо известны Лопухину. Начиная свой разговор с Лопухиным, я знал, что ссылка на Савинкова мне будет нужна, и поэтому я в начале нашей беседы много останавливался на личности Савинкова и на моих отношениях с ним.

Далее я сообщил Лопухину об участии того же агента в деле убийства великого князя Сергея. Затем, оговорившись, что не имею права так же подробно, как об этих делах, рассказывать еще об одном деле, я, подчеркивая свои слова, сообщил ему, что еще совсем недавно, всего лишь несколько

месяцев тому назад, агент, о котором я говорил, лично организовал покушение на Николая II, которое, если и не удалось, то только помимо его воли...

Лопухин был крайне взволнован. Тоном человека, который слышит невероятные вещи и должен верить им, он стал задавать мне вопросы. Я знал, что Лопухин, достаточно знакомый с моей личностью, не мог сомневаться ни в моих словах, ни в словах Савинкова и других товарищей, на которых я ссылался. Тем не менее, он, видимо, с трудом усваивал то, о чем я говорил.

Встретившись со мной в Кельне, он, конечно, не подозревал, что под Берлином он услышит что-либо подобное по невероятности тому, что я ему рассказал. Ему, бывшему директору департамента полиции, я сообщил, что бывший его подчиненный, его агент, был в то же время главой Боевой Организации эсэров и фактически организатором убийства Плеве, Сергея и покушения на Николая II!

— Вы, будучи директором департамента полиции, не могли не знать этого провокатора: в департаменте полиции он был известен, как Раскин, Виноградов, были у него и другие клички, — сказал я. — Как видите, я его теперь окончательно разоблачил и я еще раз хочу попросить Вас, Алексей Александрович, позвольте мне сказать Вам, кто скрывается под псевдонимом Раскина?

— Никакого Раскина я не знаю, а инженера Евно Азефа я видел несколько раз! — сказал Лопухин.

Конечно, для меня менее чем для кого-либо эта фамилия была новостью. Больше года она буквально ежеминутно была у меня в голове. Но то, что я ее услышал из уст Лопухина, меня поразило, как громовой удар.

После шестичасового разговора с Лопухиным, — причем говорил, собственно, один я, — я настолько устал, что не мог слушать со вниманием то, что дальше говорил Лопухин. Я

мысленно уже перенесся в Париж, в ту среду, где велась ожесточенная борьба за и против Азефа, и там уже продолжал борьбу против предателя с новыми аргументами «от Лопухина».

Поезд, между тем, уже приближался к Берлину.

Я крепко пожал на прощанье руку Лопухину. Снова его я встретил только... через десять лет — в Петрограде!

Впечатления от разговора между Кельном и Берлином глубоко волновали меня. Но сам Лопухин не придавал, видимо, особенного значения тому, что он мне сказал. Да и какое особенное значение мог он придавать этому разговору?

Ну, мог ли он считать, что раскрывает какую-то правительственную тайну, что срывает маску с неведомого революционерам провокатора, когда прежде чем он произнес имя Азефа, он выслушал подробнейший рассказ о его деятельности, рассказ к которому трудно было бы что-либо добавить. Мало того, он сам услышал много такого, чего не только не знал, но никогда и предположить не мог.

Мог ли он думать, что в Петербурге его будет ждать арест, а потом и ссылка, его бывшего директора департамента полиции?!

Приехав в Париж, я, конечно, решил никому не сообщать о своем свидании с Лопухиным, — исключение сделал только для Савинкова. Прямо с вокзала я направился к нему и подробно рассказал о своем свидании с Лопухиным. Но я не только взял с него слово сохранить эту тайну, но предварительно убедился и в том, что он понял важность для меня этой тайны и действительно выполнит данное слово и никому ни при каких условиях не скажет о моем свидании с Лопухиным. Савинков понял, как это для меня важно, и сдержал данное слово.

Когда Савинков выслушал весь мой рассказ о свидании с Лопухиным, он сказал:

— Лопухин лжет! Он подослан к вам! Ему надо скомпрометировать вас и выслужиться! Азеф выше всех обвинений Лопухина!

Глава двадцать вторая

Мое заявление в ЦК эсэров об Азефе — Суд по обвинению в оклеветании Азефа — Письмо Азефа к Савинкову

Я видел, что в деле обвинения Азефа стою перед глухой стеной и что одними конспиративными переговорами с эсэрами я не разрешу азефского вопроса. Я тогда решился скорее настоять на суде и пред беспристрастными и незагипнотизированными судьями обосновать свои обвинения против Азефа.

Эсэры медлили с назначением суда надо мной. Но я более ждать не хотел.

Я составил заявление, обращенное к партии эсэров, и в нем прямо обвинял Азефа, как провокатора. Но прежде, чем опубликовать это заявление, я его корректуру передал представителям эсэров, и заявил, что, если немедленно не будет назначено суда, я его опубликую.

Вот несколько отрывков из этого моего заявления.

«Уже более года, как в разговорах с некоторыми деятелями ПСР я указывал, как на главную причину арестов, происходивших во все время существования партии, на присутствие в Центральном Комитете инженера Азефа, которого я обвиняю в самом злостном провокаторстве, небывалом в летописях русского освободительного движения.

Более полугода уже, как существует комиссия, образованная Центральным Комитетом для расследования причин петербургских провалов конца того и начала этого года. В этой комиссии я все время категорически заявлял, что, по моему глубокому убеждению, причина всех бывших провалов —

провокация, и при этом я все время указывал на Азефа, как на провокатора.

Повторяю, последние петербургские события не позволяют мне более ограничиваться бесплодными попытками убедить вас и вашу комиссию в ужасающей роли Азефа, и я переношу этот вопрос в литературу и обращаюсь к суду общественного мнения».

«Я давно уже просил Центральный Комитет вызвать меня на третейский суд по делу Азефа. Сколько мне известно, решение вызвать меня на суд со стороны Центрального Комитета состоялось более месяца, но оно мне не объявлено до сих пор. Разумеется, на третейский суд я явлюсь по первому требованию, но события происходят в настоящее время в России ужасающие и кровавые, и я не могу ограничиться ожиданием разбора дела в третейском суде, который может затянуться надолго, — и гласно, за своею подписью беру на себя страшную ответственность обвинения в провокаторстве одного из самых видных деятелей ПСР».

«Перед нами задача стоит не только в том, чтобы изобличить и обезвредить на будущее время Азефа, но и добиться полной ответственности Рачковских и Герасимовых за их чисто уголовные преступления».

На корректурном листке моего заявления, адресованного в «Центральный Комитет партии с.-р.», я рукой сделал следующие три примечания для эсэров:

«1) Прошу переслать это заявление в ЦК для того, чтобы после средижировать его вместе;

2) ЦК может от себя добавить в этом же листке все, что ему угодно;

3) Разумеется, это заявление не должно быть известно Азефу и тем, кто ему может о нем передать».

Эсэры, как было потом сказано в докладе судебно-следственной комиссии, не могли не понять, что опубликова-

ние этого заявления произвело бы потрясающее действие не только в партии, но и во всем русском обществе. Но эсэры официально не хотели принять мое последнее условие, и от имени партии мне было сказано:

«Азеф и партия — одно и то же. У нас от Азефа нет секретов, и потому мы Вам возвращаем эту прокламацию. Действуйте, как хотите».

Но в то же самое время мне было заявлено, что ЦК немедленно созывает суд, и я, не опубликовывая заявления, отложил его для передачи суду.

Судьями эсэры предложили выбрать Г. А. Лопатина, В. Н. Фигнер[120] и П. А. Кропоткина. Когда они сообщили мне этот список, я сейчас же, без возражений, согласился на него. Но суд должен был состояться собственно не над Азефом по обвинению в том, что он провокатор, а надо мною за то, что я клевещу на Азефа и называю его провокатором.

По словам одного из судей, задачи суда были таковы:

«...Предположено было заняться тем, чтобы выяснить, клеветник Бурцев или нет? И мало того, не только клеветник, но и человек, который легкомысленным образом распространяет клеветнически-злостные слухи относительно одного из самых выдающихся деятелей партии, одного из столпов ее. И вся наша задача состояла в том, чтобы определить, действительно ли это было так или нет».

Сам Азеф заранее отказался явиться на суд. Но он все время прекрасно знал, в каком положении находится дело, и со стороны старался руководить теми, кто на суде были его защитниками, и он им подсказывал аргументы для своей защиты.

Накануне суда Азеф прислал целое послание к Савинкову. После суда я напечатал это письмо целиком в 9–10 №№ «Былого». Вот из него несколько отрывков.

«Но если бы еще и можно было бы похерить суд над Бурцевым, то я скорее был бы против этого, чем за, но, конечно, не имел бы ничего, если бы вы там так решили это дело. Некоторые неудобства суда имеются. Я многое, указанное в твоем письме, разделяю, но не все. Мне кажется, дорогой мой, ты слишком преувеличиваешь то впечатление, которое может получиться от того, что выложит Бурцев»...

«Х. пишет, что Бурцев припас какой-то ультрасенсационный «материал», который пока держит в тайне, рассчитывая поразить суд, — но то, что я знаю, действительно не выдерживает никакой критики, и всякий нормальный ум должен крикнуть: «Купайся сам в грязи, но не пачкай других!» Я думаю, что все, что он держит в тайне, не лучшего достоинства. Кроме лжи и подделки, ничего быть не может. Потому, мне кажется, суд, может быть, и сумеет положить конец этой грязной клевете. По крайней мере, если Бурцев и будет кричать, то он останется единственным маниаком. Я надеюсь, что авторитет известных лиц будет для остальных известным образом удерживающим моментом. Если суда не будет, разговоры не уменьшатся, а увеличатся, а почва для них имеется — ведь биографии моей многие не знают».

«Конечно, мы унизились, идя на суд с Бурцевым. Это недостойно нас, как организации. Но все приняло такие размеры, что приходится и унизиться. Мне кажется, что молчать нельзя, — ты забываешь размеры огласки. Но если вы там найдете возможным наплевать, то готов плюнуть и я вместе с вами, если это уже не поздно. Я уверен, что товарищи пойдут до конца в защите чести товарища, а потому я готов отступиться от своего мнения и отказаться от суда».

«Мне хотелось только не присутствовать во время этой процедуры. Я чувствую, что это меня совсем разобьет. Старайся, насколько возможно, меня избавить от этого»

Глава двадцать третья

Суд — Обвинение Чернова и мой ответ — Рассказ о свидании с Лопухиным — Обвинения Азефа по указаниям охранников — Отношение непартийной публики к Азефу

Первое заседание суда состоялось на квартире Рубановича. Обвинителями против меня выступили Чернов, Натансон и Савинков.

От имени своих товарищей Чернов прежде всего поставил мне вопрос, даю ли я слово, в случае, если суд признает меня виновным, прекратить кампанию против Азефа?

На его вопрос я ответил, что, если даже суд признает, что мои обвинения Азефа неосновательны, а я буду все-таки убежден, что Азеф — провокатор, то я и тогда не прекращу своей борьбы с ним. Чернов и Натансон — они все время действовали солидарно, когда приходилось выступать против меня — резко запротестовали против этих моих слов и говорили, что я срываю суд, что при этих условиях суд не имеет смысла и т. д.

После горячих споров я сделал такого рода заявление, удовлетворившее моих обвинителей: если суд признает мои обвинения недоказанными, а я останусь при своем убеждении, что Азеф — провокатор, то я при каждом моем выступлении против него буду обязан упоминать, что суд высказался против меня, и в то же самое время я предоставляю эсэрам право на мою дальнейшую агитацию против Азефа реагировать против меня всеми способами — вплоть до убийства меня.

Приступили к разбору дела.

Первым говорил Чернов. Он говорил в продолжение почти четырех часов.

Прежде всего он изложил биографию Азефа. Он говорил о нем, как об одном из создателей партии эсэров и главном

ее деятеле и как об организаторе целого ряда политических убийств — Плеве, великого князя Сергея — и как участника покушения на царя. Затем рассказал, сколько было попыток со стороны департамента полиции бросить тень на Азефа, и по пунктам опровергал серьезность всех моих обвинений.

Кончая свою обвинительную речь, Чернов от имени партии обратился к суду с просьбой категорически обвинить меня в клевете.

После Чернова говорил я.

Я подробно рассказал о моей борьбе с провокацией, об источниках моих сведений, о Бакае, о свидании его с Ратаевым, о его переписке с Доброскоком, о встрече с Донцовым, о моем свидании с Д. в Швейцарии и т. д. Затем стал критиковать доводы Чернова.

Кончив это, я сказал суду, что у меня есть еще кое-что по делу Азефа, но что это я могу сообщить только в том случае, если представители эсэров не воспользуются никогда моим рассказом иначе, как с согласия суда. Суду же я предоставлял право делать из моего сообщения все, что ему угодно, но только я просил предварительно сообщить мне о том, что он считает нужным с ним сделать.

Это мое условие было принято, и суд таким образом взял на себя ответственность за то, что тайна эсэрами будет сохранена.

Тогда я стал подробно рассказывать о моей встрече с Лопухиным. Я никогда в моей жизни не говорил перед такими внимательными слушателями, как в этот раз. Я видел, что мои слушатели были поражены рассказом и ждали всего что угодно, но только не этого. Меня не прерывали. Я чувствовал, как глубоко все взволнованы и как все боятся своим волнением нарушить тишину.

Когда я повторил слова Лопухина «Никакого Раскина я не знаю, а инженера Евно Азефа я видел несколько раз!» — все враз заговорили и встали со своих мест.

Взволнованный Лопатин, со слезами на глазах, подошел ко мне, положил руки мне на плечи и сказал:

— Львович! Дайте честное слово революционера, что Вы слышали эти слова от Лопухина...

Я хотел ему ответить, но он отвернулся от меня, как-то безнадежно махнул рукой и сказал:

— Да что тут говорить!.. Дело ясно!

Я возобновил свой рассказ. В одном месте Савинков прервал меня и сказал:

— Владимир Львович, ведь вам Лопухин говорил еще вот что...

Тут, как ужаленные, вскочили Чернов и Натансон. Они буквально набросились на Савинкова:

— Как, Вы знали о свидании с Лопухиным и не сказали нам?!

Савинков им объяснил, что я ему все рассказал в день моего приезда в Париж после свидания с Лопухиным, но что я взял с него честное слово молчать, и он поэтому не мог нарушить свое слово.

Я продолжал свой рассказ.

Но всем казалось, что, очевидно, ничего нового я им уже больше не скажу. Никто и не мог и не хотел соблюдать ту тишину, которая перед тем только что тут стояла.

Всем хотелось скорее разойтись. Все чувствовали себя утомленными от всего, что они слышали. Я посмотрел на старика Кропоткина. Он, как судья, ни одним жестом, ни одним словом не выказал мне сочувствия, но я чувствовал, что он весь на моей стороне.

Среди моих обвинителей было сильное смущение. Как-то неестественно вышло восклицание у Натансона:

— Ваш рассказ подсказал Лопухину имя Азефа! Лопухин — бывший директор департамента полиции. Он воспользовался вашим рассказом и подтвердил старую клевету на Азефа...

Суд заседал почти весь октябрь месяц. Заседания происходили почти ежедневно, и иногда даже не один раз в день.

Судьи допрашивали и меня и других свидетелей по всем самым интимным вопросам. Никто не отказывался отвечать ни на какие вопросы. Все чувствовали, что решается не личный мой вопрос и даже не вопрос об Азефе, а что-то гораздо более важное.

Эсэры в самых радужных красках продолжали рисовать роль Азефа, как революционера, и ни на одну минуту не допускали мысли, что я прав.

Кроме Чернова, о деятельности Азефа, как террориста, много говорил Савинков. То, что на суде он говорил об Азефе, он сформулировал сейчас же после суда, когда маска с предателя была сорвана, но именно таким языком он о нем говорил и на суде.

Вот несколько отрывков из заявления Савинкова.

«Азеф состоит членом партии с самого ее основания; он знал о покушении на харьковского губернатора князя Оболенского (1902 г.) и принимал участие в приготовлениях к убийству уфимского губернатора Богдановича (1903 г.). Он руководил с осени 1903 г. Боевой Организацией и в разной степени участвовал в последующих террористических актах: в убийстве министра внутренних дел Плеве, в убийстве великого князя Сергея Александровича, в покушении на великого князя Владимира Александровича, в покушении на петербургского генерал-губернатора ген. Трепова, в покушении на киевского генерал-губернатора Клейгельса, в покушении на нижегородского губернатора генерала барона Унтерберга, в покушении на московского генерал-губернатора адмирала Дубасова, в покушении на министра внутренних дел Дурново, в покушении на офицеров Семеновского полка генерала Мина и полковника Римана, в покушении на заведующего политическим розыском Рачковского, в убийстве Георгия Га-

пона, в покушении на командира Черноморского флота адмирала Чухнина, в покушении на премьер-министра Столыпина и в трех покушениях на царя. Кроме того, он заранее знал об убийстве Татарова, об убийстве генерала Сахарова в Саратове, об убийстве петербургского градоначальника генерала фон-дер-Лауница, об убийстве главного военного прокурора генерала Павлова, о покушении на великого князя Николая Николаевича, о покушении на московского генерал-губернатора Гершельмана и т. д.

Он был членом Центрального Комитета и принимал участие во многих крупных революционных предприятиях и в обсуждении всех без исключения планов, в том числе планов московского, свеаборгского и кронштадтского восстаний.

Ввиду таких фактов биографии Азефа Центральный Комитет считал себя вправе не придавать существенного значения указанным слухам (между прочим, моим обвинениям) и цитированным письмам (указавшим на Азефа, как на провокатора): он склонен был усматривать в них интригу полиции. Полиции было выгодно, конечно, набросить тень на одного из вождей революции и тем лишить его возможности продолжать свою деятельность. Такого мнения держалось большинство товарищей. Меньшинство товарищей, не веря однако в полицейскую интригу, тем не менее далеки были от заподозревания Азефа в провокации. К последним принадлежал и я.

Я был связан с Азефом дружбой. Долговременная совместная террористическая работа сблизила нас.

Я знал Азефа за человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта.

Я видел его на работе. Я видел его неуклонную последовательность в революционном действии, его спокойное мужество террориста, наконец, его глубокую нежность к семье. В моих глазах он был даровитым и опытным революционером и твердым, решительным человеком.

Это мнение в общих чертах разделялось всеми товарищами, работавшими с ним...

Быть может, не все одинаково любили его, но все относились к нему с одинаковым уважением. Было невероятно, что все товарищи могли ошибаться!»

С особым подчеркиванием сообщили эсэры на суде об участии Азефа в покушении на цареубийство в 1908 г. Вместе с Савинковым, Карповичем и др. Азеф организовывал покушение на царя на пароходе «Рюрик». Если бы Азеф и хотел потом предотвратить это покушение, он уже не мог бы это сделать, говорили эсэры.

На суде было констатировано, что и раньше не раз Азефа обвиняли в провокации, но на это эсэры не обращали должного внимания.

Так, еще в 1903 г. в Петербурге молодой революционер Крестьянинов от одного знакомого рабочего, оказавшегося потом сыщиком, получил определенное указание, что Азеф — провокатор. С помощью Рубакиной он поднял вопрос об Азефе. Эсэры и члены редакции «Русского Богатства», между прочим Пешехонов[121] разбирали дело и пришли к заключению, что обвинения Азефа ни на чем не основаны и являются только происками охранки. Азеф плакал, оскорбленный гнусным обвинением в провокации. Его утешали и обвинителей заставили отказаться от их обвинения.

В 1905 г. Меньшиков[122] через эсэра инженера Ростковского передал эсерам анонимную записку о том, что в их партии есть два шпиона: Азеф и Татаров[123]. Татарова эсэры изобличили и убили, но решили, что (на этом особенно настаивал Чернов на моем суде) департамент полиции сознательно выдал эсэрам Татарова, чрезвычайно важного провокатора, только для того, чтобы «бросить тень» на Азефа.

В 1905 году такие же прямые указания на Азефа, как на провокатора, были получены от одного охранника в Сарато-

ве, в связи с приездом туда Брешковской[124] и в 1906 году — в Одессе через Тютчева[125]. До эсэров тогда же дошли слухи и о том, что однажды это было уже в 1906 году, Азеф был охранниками арестован, но после каких-то переговоров выпущен.

Все эти факты в свое время были известны эсэрам лучше, чем нам, но они от них отмахивались и не обращали на них никакого внимания.

О них Чернов на суде много говорил и видел в них лишь попытки департамента полиции скомпрометировать Азефа. Он изумлялся, как для нас не ясны эти тонкие интриги охранников.

На суде я приводил несколько примеров того, как на многих, лично не знавших Азефа, он часто оставлял впечатление преступника и шпиона.

Назначаются свидания в Петербурге с представителями эсэров, приехавшим из-за границы. Встречаются там с незнакомым Азефом и сразу наотрез отказываются с ним говорить. В тревоге идут к тем, кто дал адрес для свидания, и говорят: вы к кому нас послали? Ведь это — несомненный шпион!

«Когда Азеф, — говорит в своей книге Циллиакус[126], — явился по поручению эсэров в Финляндию, где он устроил грандиознейшую провокацию, то он произвел отвратительное, отталкивающее впечатление: круглый, шарообразный череп, выдающиеся скулы, плоский нос, невообразимо грубые губы, которых не могли прикрыть скудно взращенные усы, мясистые щеки, все расширяющееся от нижней части лба лицо, вообще чисто калмыцкий тип — все это не располагало в пользу таинственного незнакомца Ивана Николаевича.

Лица, снабжавшие Азефа рекомендательным письмом, очевидно, имели в виду возможность неблагоприятно личного впечатления. По крайней мере, в письме писалось: «Не цени собаку по ее шерсти», и тут же Азеф рекомендовался, как «выдающийся член партии».

На суде Чернов и сам не отрицал, что Азеф производил на незнакомых с ним лиц иногда тяжелое впечатление. Но, говорил он, «надо только хорошенько всмотреться в его открытое лицо, и в его чистых, чисто детских глазах нельзя не увидеть бесконечную доброту», а хорошо узнавши его, как его знал сам Чернов, «нельзя было не полюбить этого действительно доброго человека и нежного семьянина». Когда Чернов говорил нам все это, он как-то особенно самоуверенно рисовался своим тонким пониманием психологии.

На суде указывали на темные стороны жизни Азефа, но его защитники или отрицали эти факты или придавали им особое значение и объясняли, что все это Азеф делал из-за конспирации.

Впоследствии выяснилось, что в жизни Азефа не только всегда было много темного, что должно было его компрометировать и как революционера, и как человека, но что это темное видели и его товарищи эсэры. Но гипноз партийности, на который всегда были способны Черновы и Натансоны, заставлял их на все это закрывать глаза, и они рисовали Азефа, каким он нужен был для их партийных целей.

Глава двадцать четвертая

Допрос Бакая о его побеге из Сибири — Заключительная речь Савинкова на суде и мой ответ ему

На суд для допроса приглашали Бакая и некоторых других свидетелей. Судьи, по собственной инициативе, а еще чаще по просьбе эсэров, входили в мельчайшие подробности моей борьбы с провокацией. Старались в этой области не оставить ничего невыясненным. Защищая Азефа, эсэры хотели разоблачить интриги департамента полиции, направленные на то, чтобы скомпрометировать Азефа.

Они особенно подробно расспрашивали меня о моем отношения к Бакаю, о его побеге из Сибири, устроенном мной, средствах, которые я тратил на Бакая и т. д.

На суде, как и до суда, как только началось дело Азефа, я чувствовал к себе особенно злобное отношение со стороны Чернова и Натансона. Натансон и тут оставался тем же Натансоном, с каким мне пришлось столкнуться еще в Сибири в 1888 году. В отношении к себе в деле Азефа я не могу ни в чем упрекнуть только самого горячего защитника Азефа — Савинкова.

Чернов и Натансон не скрывали желания утопить меня, спасая Азефа. Я был в положении обвиняемого, и мне приходилось мириться с этим инквизиционным отношением ко мне и отвечать на все вопросы, даже когда они делались с злобными чувствами и даже когда этих чувств не скрывали.

С какой жестокостью отнеслись к Бакаю эсэры, когда они его допрашивали! Я не был бы изумлен, если бы Бакай на одном из допросов счел возможным не продолжать давать показания, а ушел бы с заседания суда, куда он приходил добровольно по моей просьбе.

Подошли к вопросу о том, как он бежал из Сибири. Для эсэров было несомненно, что побег Бакая был подстроен департаментом полиции для того, чтобы он через меня мог скомпрометировать Азефа. Об этом они говорили прямо.

Натансон и Чернов спросили Бакая, кто ему устраивал побег?

Бакай ответил, что я еще в Петербурге предупредил его, что пришлю в Сибирь кого-нибудь его освобождать и что, действительно, я прислал к нему доверенное лицо.

— Кто к Вам приезжал?

Бакай ответил:

— Владимир Львович здесь. Если он разрешит мне назвать это лицо, я назову.

Эсэры, а потом и судьи стали настаивать на том, чтобы я разрешил Бакаю назвать это лицо.

У Чернова и Натансона я увидел злобные огоньки в глазах и какую-то надежду, что вот-вот для защиты Азефа они узнают что-то нужное для них. Меня взорвало такое отношение ко мне, и я с трудом скрыл это чувство, но решил поставить их в такое положение, чтобы они вполне выявили свое злобное отношение ко мне.

Я категорически заявил, что посылал вполне своего человека, и, полагаю, что называть его не имеет никакого смысла, что его имя ровно ничего не может нам выяснить, так как все решения принимал я, а это лицо было только посредником.

Мой настойчивый тон и нежелание сообщить имя посланного мною лица в высшей степени заинтересовали и Чернова и Натансона. Им казалось, что вот-вот тут-то и зарыта собака. И чем больше я упорствовал в нежелании назвать это лицо, тем больше они на этом настаивали.

Наконец они стали говорить со мной языком ультиматума и заявили, что для них очень важно знать, кто был посланный. Они напомнили, что в начале нашего суда мы решили ничего не скрывать и что я сам до сих пор отвечал на все вопросы, касающиеся даже лично меня.

Мой спор с Натансоном и Черновым продолжался долго и со стороны, конечно, нельзя было не видеть, что хотя обе стороны и стараются выражать свои чувства в спокойной форме, но сильно волнуются и между ними происходит настоящая дуэль.

Чернов и Натансон обратились к судьям с просьбой во что бы то ни стало потребовать от меня, чтобы я назвал это лицо.

...Судьи единогласно обратились ко мне с заявлением, что они просят меня назвать это имя, и что они не могут в этом отказать эсэрам.

Тогда я сказал судьям:

— Если и вы считаете нужным настаивать, я назову это имя, но очень вас прошу: не настаивайте! Поймите, что это имя не нужно для дела. Оно вам ничего не объяснит.

И судьи, а еще больше Чернов и Натансон, стали еще с большей силой настаивать. Наконец судьи и мои обвинители единогласно заявили мне, что я должен назвать это имя.

— Хорошо! — ответил я. — Я разрешаю Бакаю назвать имя лица, которое я посылал к нему. Он знает это имя, и вы все знаете. Но позвольте мне еще раз просить вас не настаивать. Это бесполезное осложнение дела.

Я понимал, конечно, что после этих моих слов эсэры особенно будут продолжать настаивать на своем. Во мне начинала клокотать злоба против этих действительно злых людей — Чернова и Натансона, даже не скрывавших своей злобы, и я нарочно еще некоторое время, что называется, ломался. Но, в конце концов, обращаясь к тут же сидевшему и слушавшему всю эту нашу перепалку Бакаю, я сказал ему:

— Ну, что ж! Суд настаивает, чтобы было названо имя лица, которое я к Вам посылал. Вы знаете его. Я Вам разрешаю назвать его.

Воцарилась тишина. Я посмотрел на Чернова и Натансона. Они ждали, что вот-вот на их улице будет праздник. Я видел, с какой тревогой ждали этого имени Лопатин и Кропоткин.

Все впились глазами в Бакая.

Он некоторое время молчал. Потом сказал:

— Ко мне в Тюмень освобождать меня Владимир Львович присылал Софью Викторовну Савинкову.

Тут я увидел воочию что-то вроде заключительной немой сцены из «Ревизора».

Едва сдерживая свою торжествующую злобу, я совершенно спокойно сказал, обращаясь, главным образом, к эсэрам:

— Да, я подтверждаю, что я посылал в Тюмень к Бакаю Софью Викторовну Савинкову, которую вы все знаете. Я

надеюсь, что говорить о ней, как об агенте департамента полиции, посланном освобождать Бакая, никто из вас не будет.

Общее молчание. Не забуду я выражения Лопатина. Он тоже едва был в силах скрыть свою радость и свое волнение.

Как председатель, он спокойно ответил мне:

— Ну, разумеется, о Соне — ее все присутствовавшие хорошо знали лично — никакого сомнения ни у кого быть не может!

Чернов и Натансон сидели более чем разочарованные.

Мы перешли к другим делам.

Года через два я был в Неаполе и написал Лопатину на Капри.

Лопатин от имени Горького телеграммой пригласил меня приехать на Капри. Один вечер мы провели все вместе у Горького за общим разговором. Более всех рассказывал Лопатин. Рассказывал по обыкновению красочно и увлекательно. Слушателей особенно занял его рассказ именно о том, как эсэры хотели меня на суде поймать по поводу устройства побега Бакаю.

По поводу этого эпизода на суде Лопатин однажды мне сказал:

— Когда Чернов и Натансон стали настаивать, чтобы было произнесено имя лица, посланного освобождать Бакая, мне показалось, что у них есть какие-то особые сведения на этот счет и они рассчитывают Вас утопить. Я никак не мог понять, почему Вы так долго упорствовали и все желали оттянуть упоминание этого имени.

Но потом, когда Бакай сказал слово «Савинкова», я понял, как Вы съехидничали, когда Вас разозлили!

Во время допроса Бакай приводил разные соображения, почему Азеф, по его мнению, должен быть провокатором. Для этого он сообщал разные факты, цитировал слова охранников, рассказывал о технике сыскного дела и т. д. Но он ви-

дел, что и судьи, и обвинители, все, кроме меня, не только не верили ему и не были с ним согласны, а просто-таки не понимали его. Он всячески старался помочь им понять то, о чем он рассказывал, и вот однажды сказал им:

— Нет, вы этого не понимаете! Вот Владимир Львович, он рассуждает, как настоящий охранник!

Мы все переглянулись, каждый готов был прыснуть со смеху. Если бы хоть один из нас не сдержался, то, несомненно, несмотря на весь трагизм наших разговоров, разразился бы неудержимый общий смех.

Признаюсь, для меня это было одной из больших наград после долгого и мучительного изучения провокации.

В самом деле, речь шла о вопросах, касающихся деятельности охранных отделений. Люди брались решать вопросы величайшей общественной и партийной важности, вопросы совести и чести, жизни и смерти людей и общественной безопасности, — и в этом деле они обнаружили самое грубейшее непонимание того, о чем говорили,— и они не только не понимали, но говорили с необычайной самоуверенностью и боролись, часто самыми отвратительными приемами, с теми, кто им возражал.

Доказав свое полное непонимание в одном случае, они сейчас же в другом повторяли то же самое с той же самоуверенностью.

Чернов и Натансон на суде настаивали, что охранники подослали ко мне Бакая и Лопухина, ведут вокруг меня сложнейшую интригу, Ратаев в Париже, Доброскок в Петербурге, Донцов в Берлине и т. д. одновременно участвуют в огромнейшем заговоре против Азефа.

Но эти мои обвинители не могли не признать, что в уже сделанных до того времени мною разоблачениях было много ценного и что мной благодаря Бакаям вырваны были из рядов революционеров десятки очень важных провокаторов.

Тем не менее, тоном, не допускающим никаких возражений, они говорили, что департамент полиции дал мне возможность разоблачить десятки провокаторов только для того, чтобы через Бакая я бросил тень на Азефа!

Я доказывал эсэрам, что ни Бакай, ни Лопухин не подосланы ко мне, что в Петербурге, в Саратове, в Одессе не могли одинаково по общему плану заниматься компрометированием Азефа, что Ратаевы, Доброскоки, Донцовы неспособны на такую сложную игру, какую им эсэры приписывают, что департамент полиции не может делать таких глупостей, как выдавать своих агентов и давать их убивать лишь для того, чтобы сделать какую-нибудь попытку скомпрометировать Азефа.

Указывал я им и на то, что если департамент полиции действительно придает такое значение Азефу, то он, конечно, мог бы просто его арестовать, потому что Азеф часто бывал нелегально в Петербурге, посещал театры, бывал на вокзалах, виделся с революционерами и т. д. Я приводил случай, как в 1906 году я сам встретил в Петербурге Азефа в том виде, в каком его все и всегда могли видеть, и как легко я узнал его издали на улице.

Конечно, для того, чтобы рассуждать так, как я, не надо было быть «настоящим охранником», а только надо было не рассуждать, как люди, желавшие во что бы то ни стало все подгонять под предвзятые партийные задачи.

...На последнем заседании суда — в конце октября 1908 года — сильную и красивую речь против меня сказал Савинков.

— Я обращаюсь к Вам, Владимир Львович, как к историку русского освободительного движения, и прошу Вас после всего, что Вам мы рассказали здесь о деятельности Азефа, сказать нам совершенно откровенно, есть ли в истории русского освободительного движения, где были Гершуни, Желябовы[127], Сазоновы, и в освободительном движении других стран более блестящее имя, чем имя Азефа?

— Нет! — отвечал я. — Я не знаю в русском революционном движении ни одного более блестящего имени, как Азефа. Его имя и его деятельность более блестящи, чем имена и деятельность Желябова, Сазонова, Гершуни, но только... под одним условием, если он — честный революционер. Но я убежден, что он — провокатор, агент полиции и величайший негодяй!

— Вот товарищи, какое положение! — добавил я, обращаясь ко всем присутствующим. — Мы с вами горячо сколько недель подряд рассуждаем о том, первый ли человек в революционном движении Азеф или это первый негодяй, и не можем убедить друг друга, кто из нас прав! Что касается меня, то я по-прежнему твердо убежден, что прав я: Азеф — провокатор!

Глава двадцать пятая

Поездка Аргунова в Петербург — Письмо Лопухина Столыпину об Азефе — Эсэры убедились, что Азеф — провокатор — Бегство Азефа — Натансон приходил «мириться»

Эсэры просили суд сделать перерыв в занятиях на некоторое время для дальнейшего расследования дела.

Затем они просили у суда разрешения послать специального человека, члена ЦК Аргунова[128], в Петербург собрать там материалы, обличающие Лопухина в двойной игре. Они сами без разрешения суда не могли это сделать. Суд согласился и, как это у нас было условлено, сообщил мне об этом. Я видел, что слово «Лопухин», помимо моей воли, будет выброшено на улицу, но помешать этому не мог...

Скоро из Петербурга Аргунов прислал поразившие эсэров известия. Они устраняли всякую мысль о какой-либо двойной игре Лопухина. Затем в Париж вернулся и сам Аргунов со сведениями, уличающими Азефа.

Когда Аргунов был еще в Петербурге, Лопухин написал известное свое письмо к Столыпину, где прямо называл Азефа агентом департамента полиции. Из своего письма Лопухин не делал секрета. Одновременно с тем, как его получил Столыпин, оно очутилось и в руках революционеров, а затем было напечатано за границей. Письмо Лопухина имело огромное политическое и общественное значение. Правительство Столыпина это поняло и скоро жестоко расправилось с Лопухиным.

Когда я в Париже узнал о письме Лопухина к Столыпину, я написал в Петербург в Публичную Библиотеку Браудо и просил его лично передать прилагаемое письмо «общему нашему знакомому, о ком мы с вами беседовали в Париже последний раз». Этим путем через Браудо я и раньше раз или два писал Лопухину.

Я горячо благодарил Лопухина за нашу беседу между Кельном и Берлином и просил его извинить меня, что мне пришлось упомянуть его имя на суде надо мной.

...Это мое письмо Лопухин сохранил и при аресте сам отдал обыскивающим его. Впоследствии оно читалось на его суде и целиком было опубликовано в русской печати.

...В декабре 1908 г. в Лондон по своим делам приехал Лопухин. Чернов, Савинков, Аргунов отправились на свидание к нему. Оттуда все вернулись вполне убежденными, что Азеф — провокатор.

Савинков пригласил меня к себе. Когда мы остались вдвоем, он закрыл за собой дверь и сказал мне:

— Вы правы во всем! Азеф — агент полиции. Мы знаем, что Вы переживали последние месяцы. Но в настоящее время каждый из нас готов пережить в десятки раз больше, чем переживали Вы, чтобы только не переживать того, что нам приходится переживать.

Эти слова Савинкова для меня были почти совершенно неожиданными. Я говорю «почти», потому что накануне это-

го дня из слов Фигнер, когда она приходила в редакцию «Былого», я мог догадаться, что у эсэров уже происходит какой-то перелом по отношению к Азефу. Тем не менее, я как громом, был поражен словами Савинкова. Я не мог говорить и только горячо обнял его, с кем последние месяцы я так страстно боролся из-за Азефа.

От имени эсэров Савинков просил меня еще несколько дней сохранять тайну, и я даже ближайшим своим друзьям не сказал ничего, что услышал от Савинкова.

Я было попросил Савинкова «отдать» мне Азефа. Он меня без дальнейших комментариев понял, но сказал:

— Нет, мы его никому не отдадим; он принадлежит нам.

Я тоже понял Савинкова, но не ожидал, что эсэры Азефа «упустят» или, как однажды выразился Лопатин, «отпустят».

Но вот на другой день ко мне пришел видный эсэр, еще ничего не знавший о полном изменении во взглядах своих шефов на дело Азефа. В это были посвящены только несколько членов ЦК эсэров и некоторые члены Боевой Организации. Часть боевиков, например, Белла[129], продолжали безусловно защищать Азефа и заявили Натансону, Чернову и Савинкову, что если они пальцем тронут Азефа, то они их всех перестреляют.

Этот пришедший ко мне эсэр принес мне гектографированную прокламацию (К читателям «Былого» и «Революционной Мысли»), развешенную в парижских столовках и распространенную по городу. В прокламации сообщалось, что в редакции «Былого» у Бурцева, «как постоянный сотрудник», работает Бакай. Его называли предателем и предостерегали против него.

Удар, конечно, был направлен не против Бакая, а против меня. Передавая прокламацию, эсэр дружески просил меня быть осторожным. На днях, по его словам, расправятся с Бакаем, но и мне придется отвечать за доверие к нему. Он гово-

рил о своей любви ко мне, о моих революционных заслугах, и добавил:

— Вы сами виноваты! Вы превратились в орудие департамента полиции и разрушаете нашу партию. Мы будем бороться с Вами до конца!

Говорил он крайне нагло. Веруя в Азефа, он, повидимому, и пришел-то ко мне только для того, чтобы наговорить мне дерзостей. Так тогда все эсэры были уверены, что скоро разделаются со мной. Карпович писал из России, что он едет меня убивать из-за Азефа, и не один Карпович говорил обо мне таким языком.

... Но Бакая я предупредил, что несколько дней он должен быть особенно осторожным.

Через несколько дней после моего разговора с Савинковым, он, Чернов и Натансон отправились к Азефу и заявили ему, что они его обвиняют в том, что он — агент департамента полиции. Азеф возмущался и протестовал. Окончание переговоров было отложено до следующего дня.

Ночью Азеф бежал. На следующий день один из эсэров пришел ко мне часа в три и сказал:

— Азеф для объяснений должен был прийти сегодня в двенадцать часов — и не пришел!

— И не придет, — сказал я, — если вы его оставили на свободе.

Через два дня эсэры (7 янв. 1909 г.), так-таки не дождавшись Азефа, особой прокламацией объявили его провокатором.

Азеф скрылся. Эсэры вынесли ему смертный приговор. Они несколько лет подряд старались найти его и привести в исполнение над ним этот приговор. Но Азефа больше никто никогда не мог встретить. Только в 1912 г. при исключительных условиях мне удалось встретиться с ним в Германии.

После бегства Азефа негодование против эсэров было огромное. Им приходилось объясняться ежедневно и с от-

дельными лицами, и на собраниях. Их обвиняли в том, что они сознательно укрывали Азефа. Все ждали, что я выступлю против эсэров и припомню им борьбу со мной из-за Азефа. Многие от меня этого требовали.

...Моих выступлений ожидали и сами эсэры. Но я этого не хотел делать и прежде всего открыто заявил, что я не верю тому, чтобы кто-нибудь из эсэров знал об истинной роли Азефа.

Через несколько дней после разоблачения Азефа эсэры пришли в редакцию «Былого» «мириться» Заявили, что они ошибались добросовестно и считают себя во многом виновными передо мной. Но если я считаю их добросовестно ошибавшимися, то в интересах общей борьбы они предложили мне составить заявление, которое положило бы предел брошенным тогда против них обвинениям. Общественное мнение категорически обвиняло эсэров в том, что, кроме Азефа вместе с ним в охранке служили и другие видные эсэры, как Чернов, Натансон, что во время моего суда они сознательно прикрывали Азефа, — словом, что многие из них так же виновны, как и он сам.

От имени эсэров, пришедших ко мне, больше всего говорил Савинков. О нем после всей нашей борьбы из-за Азефа у меня сохранилось воспоминание, как о честном противнике.

...Я согласился подписать с эсэрами заявление о прекращении нашей тяжбы по делу Азефа и, сколько помнится, в заранее заготовленный ими текст я не внес никаких изменений. Эсэры не скрывали тогда своего изумления по поводу того, с какой легкостью я враз перечеркнул свою бывшую долгую, необычайно тяжелую борьбу с ними после того, как я так блестяще ее выиграл, и что не только не хотел разжигать разгоревшиеся против них страсти и мстить им за все то, что они делали по отношению ко мне, но своим заявлением делал трудным для других обвинять их в сознательном укрывательстве Азефа, как провокатора.

Этот мой договор с эсэрами вызвал бурю негодования против меня со стороны тех, кто до сих пор тайно поддерживал меня, но кто по большей части прятались под псевдонимами и даже отказывались от роли обвинителей Азефа. Они считали это как бы изменой с моей стороны и непременно хотели, чтобы я, пользуясь создавшимся необыкновенно благоприятным для меня положением после разоблачения Азефа, повел систематическую борьбу с эсэрами.

Через несколько дней ко мне в редакцию, несколько неуверенно, не зная, как я его приму, пришел Натансон. Но он сразу увидел, что я вовсе не хочу воспользоваться положением, созданным для меня разоблачением Азефа, и не имею в виду припоминать ему прошлое.

Я приветливо его встретил. Взволнованным голосом Натансон сказал мне:

— Ну, Владимир Львович, забудемте все, что было!

И он потянулся ко мне с объятиями...

Ему, по-видимому, в эту минуту казалось, что он заглаживает все, что до тех пор он делал по отношению ко мне, а я думал о другом: «Но неужели и впредь по отношению ко мне он будет делать то же самое, что делал и до сих пор?»

...Разоблачение Азефа я вел все время так, чтобы впоследствии мне не пришлось брать ни одного слова назад. Я хотел его так же честно кончить, как я его честно вел.

Несмотря на большой предыдущий горький опыт, у меня все-таки была некоторая надежда, что дело Азефа впредь заставит эсэров справедливее отнестись к моей борьбе с провокаторами и они перестанут говорить о моей близорукости и поймут, сколько они нанесли зла тогдашней моей борьбе с провокацией.

Но я так-таки ни тогда, ни после, никогда не дождался даже элементарнейшей справедливости не только со стороны Чернова и Натансона, но и со стороны партии эсэров, как таковой. Наоборот, со стороны партии очень скоро снова

стали против меня повторяться старые обвинения. Эсэры и тогда оставались моими врагами, какими были и в деле Азефа, — и в борьбе со мной по-прежнему во главе всех их всегда шел Натансон.

После окончания дела Азефа я написал письма моим судьям — Лопатину и Кропоткину — и горячо их благодарил.

Глава двадцать шестая

Судебно-следственная комиссия по делу Азефа — Самоубийство Беллы

Для изучения дела Азефа эсэрами была назначена следственная комиссия. В нее вошли Бах, Иванов[130], Блеклов[131] и Лункевич[132]. Эта комиссия допрашивала многих участников дела Азефа. Допрашивала она и меня. Доклад их комиссии был впоследствии напечатан. В ее отчете есть такие строки:

«Оценивая роль В. Л. Бурцева в деле разоблачения Азефа, судебно-следственная комиссия, являющаяся в данном случае представительницей партии, считает своим долгом заявить, что В. Л. Бурцев своими бескорыстными и мужественными усилиями, направленными к выяснению истины, оказал незабвенную услугу партии социалистов-революционеров, а с нею и всему русскому освободительному движению».

Это говорила судебно-следственная комиссия эсэров, а их партия продолжала вести борьбу со мной и после разоблачения Азефа, как об этом я расскажу дальше. Например, по поводу Азефа они страстно хотели со мной сосчитаться еще ив 1912 г. после моего свидания с ним во Франкфурте.

На одном собрании в Париже, через несколько дней после разоблачения Азефа, Чернов все еще упрекал меня за то, что у меня не было достаточных доказательств против Азефа!

...Я никогда не допускал мысли, как это делали очень многие (почти все), что среди эсэров кто-нибудь знал о двойной роли Азефа, и своими выступлениями в печати я парализо-

вал уже сформулированные общественным мнением такие обвинения против Чернова, Натансона и некоторых других членов ЦК социалистов-революционеров. Но я утверждал, что если сам департамент полиции активно не поддерживал Азефа в террористических актах и даже не знал его роли в них, то некоторые из руководителей политического розыска, как Рачковский, Ратаев, Герасимов, знали, что Азеф получает сведения об эсэрах не благодаря только своим личным связям с отдельными эсэрами, а потому, что он, ближайший человек к Гершуни и Савинкову, был активнейшим членом партии и членом Боевой Организации, и понимали, что он поэтому не мог не участвовать в некоторых террористических актах. Это все они знали и мирились с этим, потому что дорожили получаемыми через него сведениям о революционерах.

Эсэры конечно, понимали, что я прав, но возражали мне, спасая простиж своей организации.

Еще в начале 1905 г. Лопухин, когда уходил из департамента полиции, понял, что Азеф свои сведения об эсэрах получал не потому, что он сам был видным членом партии, которая в это время вела активную террористическую борьбу. Лопухин тогда же убедился и в том, что непосредственный руководитель Азефа, Ратаев, систематически и сознательно скрывал даже от своего высшего начальства истинную роль Азефа, и он предупредил своих преемников о том, что представляет собою Азеф, и настаивал на необходимости его арестовать. После Лопухина роль Азефа для департамента полиции выяснилась еще более. О ней доносили и другие эсэровские провокаторы, как Татаров и Жученко. Это особенно ясно должен был понять, и не мог не понять, Герасимов во время суда надо мной по делу Азефа, когда и после моих разоблачений он все-таки старался спасти Азефа. Азеф для него и тогда нужен был, несмотря на то, что он был уличен в участии в политических актах и ни для кого более не было сомнения, что он — глава Боевой Организации.

Эсэрам, наоборот, хотелось доказать, что о роли Азефа, как активного террориста, ничего не знали даже Рачковский и Герасимов. В моем обвинении Герасимова и Рачковского они видели умаление значения и компрометирование террористической деятельности их партии.

В этом смысле ЦК эсэров по делу Азефа выпустил прокламацию. Она с разных сторон вызвала резкие протесты.

...Разоблачение Азефа не могло не произвести потрясающего впечатления на эсэров.

Скажу несколько слов об одной из жертв Азефа.

Месяца за два-три до разоблачения Азефа Савинков просил меня устроить «дуэль» по поводу Азефа — чтоб я ему рассказал все об Азефе, что знаю, а он мне. Савинков предложил спорить до конца. Мы несколько раз собирались и спорили. Однажды во время этих наших споров присутствовала член Боевой Организации Белла Лапина, безгранично верившая Азефу. Но на этих наших собеседованиях мы однако друг друга не убедили, и каждый остался при своем взгляде на Азефа.

Несколько времени спустя ко мне на квартиру пришла Белла — одна Я с ней хорошо давно был знаком, и мы всегда встречались с ней дружно. В Петербурге она состояла секретарем нашего журнала «Былое» Это была одна из преданных эсэрок, искренняя, фанатичка. Ко мне Белла пришла, очевидно, для того, чтобы еще раз попытаться убедить меня в нелепости моих обвинений Азефа, и, кончая разговор, сказала:

— Владимир Львович, мы Вам рассказали самые конспиративные сведения об Азефе. Теперь вы знаете все. Дальнейшее обвинение Азефа с Вашей стороны только одно упрямство. Неужели Вы не понимаете, что Вы делаете? Вы знаете, что Вам останется делать, когда Вы убедитесь, что Азеф честный человек?

— Знаю. Мне тогда останется одно: пустить себе пулю в лоб... И я сделаю это!..

— Да, у Вас не будет другого выхода! Вы должны будете это сделать!

— Ну, — сказал я ей, — а если я прав? А если Азеф действительно провокатор? А если вы все время работаете с провокатором? А если глава вашей Боевой Организации — действительно провокатор?

— Ну, тогда, — Белла захохотала, — тогда нам всем надо будет перестреляться!

Она нервно, волнуясь, встала и направилась к выходу. В ее глазах я видел ненависть ко мне и то, что между нами все кончено... Я ее стал провожать к дверям и протянул ей руку. Она демонстративно вышла из моей квартиры, не простившись со мной...

Я с любовью посмотрел из окна на эту быстро удалявшуюся от нашего дома честную, упрямую фанатичку... В эту минуту мне было очень тяжело за нее...

Только после бегства Азефа Белла убедилась в том, что он — провокатор.

Однажды я пришел на одно колониальное парижское собрание. Издали увидел, как около стенки, скромно, задумавшись, стояла Белла. Я проходил мимо нее. Она увидела меня впервые после разоблачения Азефа и, наверное, вспомнила, как мы с ней в последний раз расстались. Она сильно заволновалась, будто съежилась, и не знала, куда девать свои глаза. Я прошел мимо нее, не показав вида, что заметил ее смущение. Выходя из собрания, я как ни в чем не бывало поздоровался с ней и сказал ей несколько слов приветствия. Этим мне хотелось дать ей понять, что я не имею теперь в виду сводить с нею какие-нибудь старые наши азефские счеты. Затем я ее не раз видел, когда она была более спокойной.

Конечно, я никогда не поднимал с ней разговоров об Азефе.

В комиссии, назначенной для изучения дела Азефа, многие из тех, кто раньше защищал его, должны были давать объяснения. Давала показания и Белла.

На нее пало подозрение, что она знала истинную роль Азефа и в революционных целях помогала ему. По ее поводу в комиссии допрашивали и, меня. Я, конечно, ни одной минуты не допускал возможности, что она знала об истинной роли Азефа.

Однажды Белла пришла ко мне в редакцию «Былого». Она, видимо, была взволнована. Спросила адрес нашего общего знакомого в России, которому ей надо было написать, и мы дружески поговорили с ней об обыденных вещах.

На следующий день мне сообщили, что Белла застрелилась.

Впоследствии я узнал, что обвинения ей были предъявлены в очень резкой форме. Молва, вернее, злая воля клеветников, как-то связала ее смерть с моими обвинениями, и я тогда же настоял на том, чтобы эсэры официально опровергли эту клевету.

Глава двадцать седьмая

После разоблачения Азефа за границей и в России — Арест Лопухина

В России разоблачение Азефа произвело потрясающее впечатление. Русская печать, несмотря на цензуру, смогла ярко выявить общественное настроение и с сочувствием говорила о разоблачении Азефа, как о деле огромной общественной и государственной важности. С живейшим интересом о нем заговорили в Государственной Думе. Вскоре затем с ее кафедры правительству был сделан запрос о деле Азефа.

...Как будто для того, чтобы показать, какое огромное значение придает оно разоблачению Азефа, правительство при исключительно сенсационной обстановке арестовало в Петербурге бывшего директора департамента полиции Лопухина. Можно было подумать, что отечество в опасности и правительство ждет уличного боя.

Арест Лопухина был событием огромной общественной важности и имел большие последствия. Целые страницы в русских газетах, начиная с «Нового Времени»[133], были посвящены его делу.

Европейская пресса глубоко заинтересовалась делом Азефа, а в связи с ним и общим положением революционной борьбы с реакцией в России.

Для правительства дело Азефа было настоящим ударом, ударом не по оглобле, а по коню. Этим разоблачением особенно были поражены в стенах департамента полиции. Там, говорят, некоторое время все бросили свои занятия. Ходили от стола к столу и обсуждали событие.

* * *

...Обвинения Азефа создавали мне препятствия за препятствиями.

...И вот в конце 1908 г. неожиданно совершилось разоблачение Азефа...

Мои противники, признавая, что я оказался прав в деле Азефа, говорили: это так, но что касается дела Стародворского (другие называли имена Бржозовского, потом Батушанского[134] и др.), в этом деле Бурцев неправ, его обманывают агенты департамента полиции, он совершает величайшее преступление, губит революционное движение и т. д., и на этом основании снова начинали против меня свою старую борьбу, какую они вели из-за Азефа.

Конечно, после разоблачения Азефа мои обвинители по делу Стародворского сильно сбавили тон.

Таким образом, с разоблачением Азефа исчезло многое, что разрушало мои дела, и открывалась широкая дорога для дальнейшей моей работы.

Глава двадцать восьмая

Дело Стародворского после разоблачения Азефа — Первые указания на сношение Стародворского с департаментом полиции — Тайное получение документов из департамента полиции — Прошения Стародворского из Шлиссельбургской крепости о помиловании — Его переговоры с чинами департамента полиции в Петропавловской крепости

...Когда 7 января 1909 г. ЦК эсэров объявил Азефа провокатором, произошла враз какая-то катастрофа во взаимных отношениях между мной, эсэрами и публикой.

Вчера я сидел на скамье подсудимых, эсэры были моими прокурорами и гремели против меня. Вокруг себя они собирали друзей Стародворского и обвиняемых поляков и очень многих других.

Сегодня на квартире эсэров члены их же партии, развалившись в креслах, требовали объяснений об Азефе. Они обвиняли своих вожаков, заподазривали их, грозили им. Эсэрам, а больше всего Чернову, приходилось публично давать отчет и стараться убедить публику хотя бы только в том, что они добросовестно заблуждались насчет Азефа.

Совершенно в иную сторону изменились мои дела. Это изменение сказалось и в деле Стародворского.

Заседания третейского суда между Стародворским и мной происходили с конца 1908 г. параллельно с заседаниями суда по делу Азефа. Об обвинении меня по делу Стародворского знали все. В русской печати уже появилась резкая статья Стародворского против меня, и я также резко отвечал ему. В публике многие были убеждены, что я клевещу на этого шлиссельбуржца по наущению подосланного ко мне департаментом полиции Бакая.

...Дело Стародворского после дела Азефа было едва ли не самым ответственным моим делом в области разоблачения провокаторов. Временно оно целиком захватило всего меня.

В конце 1906 г. — я тогда жил в Петербурге и принимал участие в редактировании «Былого» — до меня случайно дошло сведение, по-видимому, совершенно невероятное. Но получил я это сведение в таких условиях, что не мог не обратить на него внимания.

Мне сказали, что в сношениях с охранным отделением находится кто-то из... старых революционеров, шлиссельбуржцев!

Я достал полный список шлиссельбуржцев. Стал его читать и перечитывать и вдумываться в каждое имя. Лопатин, Морозов, Фигнер... На них, конечно, я не останавливался ни одной минуты. Было четыре-пять имен шлиссельбуржцев, о которых я не имел таких же обстоятельных сведений, как о других, но то, что я знал и о них, устраняло всякое сомнение относительно их. Неизвестных для меня имен среди шлиссельбуржцев не было.

Но, признаюсь, когда еще в первый раз я прочитал список шлиссельбуржцев, в нем одно, хорошо мне известное имя как-то сразу остановило на себе мое внимание, и потом всякий раз, когда я возвращался к нему, у меня сердце всегда екало, но я сейчас же отгонял свои сомнения. Тем не менее я снова и снова невольно возвращался к нему. Я боролся с собой и старался заглушить в себе страшные подозрения. Но ни на одном другом имени я как-то даже и не останавливался. Я все невольно про себя твердил: Стародворский, Стародворский, Стародворский...

Мне сказали, что если дать тысяч десять рублей, то назовут имя этого шлиссельбуржца и дадут о нем подробные сведения. Называли источник, где можно получить эти сведения, а именно — у И. Ф. Мануйлова-Манасевича[135].

Но я тогда не решался даже начать какие-либо расследования о дошедших до меня сведениях, и до поры до времени только сохранял их про себя. Догадка моя казалась слишком

невероятной и было тяжело думать, что это верно. Я даже не считал себя вправе поделиться с кем-либо полученными указаниями.

В это время я имел сношения с одним чиновником департамента полиции, имевшим отношение к его архиву. За очень скромное вознаграждение, через общего нашего знакомого Н., он доставлял мне из этого архива целые тома секретных документов — по 800 ст. in folio. Я пересмотрел таким образом до двадцати больших томов, не считая мелких.

Я их просматривал и возвращал обратно, заказывал новые и т. д. Все это делалось в продолжение нескольких месяцев при огромном риске и для этого чиновника, и для меня.

Когда до меня дошло сведение, что с охранниками связан какой-то шлиссельбуржец, я попросил чиновника принести мне из департамента полиции за некоторые годы дела о шлиссельбуржцах, где я надеялся найти нужную мне разгадку того, что меня мучило.

Вскоре в одном из таких томов нашлось заявление Стародворского на имя директора департамента полиции и его прошение на высочайшее имя о помиловании.

...Потом в шлиссельбургских документах нашлось не одно прошение Стародворского о помиловании, а три. На них я обратил особенное внимание потому, что имя Стародворского было среди шлиссельбуржцев именно тем именем, на котором я невольно последнее время останавливался с тех пор, как до меня дошли темные слухи о сношениях какого-то шлиссельбуржца с департаментом полиции.

Надо было так хорошо знать биографию Стародворского, как я ее знал, чтобы одновременно и быть пораженным этими его прошениями, и в то же самое время сразу допустить, что они были им написаны, и что на этот счет не могло быть сомнений.

В декабре 1883 г. Стародворский участвовал в убийстве известного жандармского полковника Судейкина и весной

1884 г. он был арестован. В 1887 г. его приговорили к смертной казни, а после помилования заключили в Шлиссельбургскую крепость, где он и просидел до 1905 г., т. е., включая и годы предварительного заключения в Петропавловской крепости, всего более 20 лет.

Но общая амнистия 1905 г. застала Стародворского не в Шлиссельбургской крепости, а в Петропавловской, куда он, как это выяснилось после, был ранее привезен по сделанному тайно от товарищей им самим вызову для переговоров с правительством. Сидя в Петропавловской крепости, Стародворский виделся и вел переговоры с представителями департамента полиции, между прочим, с Рачковским.

Из этих своих переговоров в Петропавловской крепости Стародворский сделал тайну не только от своих товарищей по тюрьме, но и от всех нас, с кем он имел дело, когда был уже на воле.

Он совершенно не сознавал, какую опасность представляют для него тайные сношения с департаментом полиции, и не понимал того, что Рачковский руководствуется в своих сношениях с ним только одними узкими, самыми низкими, полицейскими целями. Льстя и обманывая Стародворского, Рачковский имел в виду только заагентурить на свою службу еще одного лишнего тайного сотрудника с таким политическим прошлым, как у Стародворского.

...О переговорах Стародворского носились только какие-то туманные слухи. Вообще все думали, — так дело объяснял и сам Стародворский, — что из Шлиссельбургской крепости перевезли его в Петропавловскую крепость помимо его ходатайства, быть может, потому, что правительство, узнав через тюремное начальство о его патриотическом настроении во время тогдашней войны, само хотело, если и не освободить его за это из тюрьмы и отправить на фронт — война в это время кончалась, — то оказать ему кое-какие льготы.

Когда Стародворский в конце октября 1905 г., одновременно со всеми другими шлиссельбуржцами, был освобожден из Петропавловской крепости, он в наших глазах был окружен ореолом не только своего двадцатилетнего сидения в шлиссельбургской каторжной тюрьме, но и воспоминанием об участии в убийстве одного из самых ненавистных людей своего времени — Судейкина.

Над именем Стародворского не тяготело никаких сомнений. Моя первая статья, напечатанная в России после возвращения из-за границы, была посвящена Стародворскому, и о нем я говорил с глубоким сочувствием.

Высокого роста, физически совершенно сохранившийся, здоровый, сильный, живой, Стародворский производил очень глубокое впечатление. По своим политическим взглядам он не был крайним, его политика была реальна и патриотична. Люди моих политических взглядов не могли не относиться к нему с сочувствием, — и я ему заказал воспоминания для «Былого» об убийстве Судейкина.

Но вскоре Стародворский как-то отошел от всех нас. Между нами сразу появился какой-то холодок, и мы почувствовали отчужденность от него. Стали передавать из уст в уста рассказы о его различных довольно «практичных делах». Были между ними и такие рассказы, которым не хотелось верить. Хотелось их замалчивать и не придавать им никакого значения, как будто ничего подобного не было. Тем не менее, от всего этого что-то оставалось на душе. Что-то в том же роде стали рассказывать о его поездках за границей — об излишней проявленной там его практичности, поразившей даже иностранцев...

Найденные в бумагах департамента полиции три прошения Стародворского о помиловании для меня были не только результатом одной временной слабости человека, просидевшего долго в тяжелых условиях в тюрьме, но они говорили и

об его систематическом обмане товарищей в продолжение многих лет и о том, что он и теперь говорит всем неправду.

Только после этих находок в бумагах департамента полиции я и счел себя вправе начать расследование о Стародворском в связи с полученными сведениями о том, что кто-то из шлиссельбуржцев находится в сношениях с департаментом полиции.

Тогда же через третьих лиц я постарался переспросить Мануйлова-Манасевича, с которым я не был тогда знаком, о том, кого он имел в виду, когда говорил о шлиссельбуржце, завязавшем сношения с охранкой. Он ответил, что дело идет о Стародворском. Это указание дано было Мануйловым-Манасевичем нейтральному человеку, когда он сам этому разговору не придавал никакого особенного, значения и не мог даже предполагать, что его слова будут переданы мне, и он не знал, что собственно мной же ему и был поставлен этот вопрос. Кстати, ни о каком требовании десяти тысяч за это сообщение, как о том говорили, не было речи ни с его стороны, ни со стороны других лиц.

Обстановка, при которой на этот раз было получено это сведение, меня почти окончательно убедила, что речь шла именно о Стародворском.

Глава двадцать девятая

Начало расследований по делу Стародворского — Морозов в истории обвинения Стародворского — Морозов, Новорусский и Лопатин против Стародворского

Первое время я все-таки не решался познакомить с прошениями Стародворского даже его товарищей шлиссельбуржцев и только продолжал собирать о нем дополнительные сведения. Но обстоятельства заставили меня начать дело скорее, чем я предполагал.

Посредник, передававший мне от чиновника департамента полиции документы, иногда из любопытства сам просматривал их у себя дома. При одной из этих передач он самостоятельно, раньше меня, нашел одно из прошений Стародворского, и оно очень заинтересовало его. Передавая мне принесенный том, он указал мне на него. Впоследствии во время своих показаний на суде со Стародворским он заявил, что прошение Стародворского так меня поразило, что я сразу сильно заволновался и от душивших меня слез с трудом говорил. Но я ему тогда сказал, что документы не имеют большого значения. Говорил я это для того, чтобы он не поспешил сообщить о найденном документе своим знакомым журналистам. Но, несмотря на мою просьбу молчать о прошении Стародворского, посредник сообщил о нем, если не журналистам, то «по начальству» — какому-то эсэру, а эсэр с этой новостью обратился к Николаю Александровичу Морозову.

По поводу того, что тогда происходило между Стародворским, Морозовым[136], Михаилом Василевичем Новорусским[137] и мной, имеются любопытные современные записи в сохранившихся у меня письмах Морозова и Новорусского, присланных мне для представления на суд.

Вот что тогда писал из Петербурга Морозов:

«Еще в первую зиму моей жизни в ПБ в 1905 г. за обедом у одной светской дамы к хозяевам прибежала одна пожилая знакомая, вращающаяся в аристократическом кругу (даже с великими князьями), и, увидев меня, воскликнула: — Н. А., неужели это правда? Кто-то из ваших товарищей по Шлиссельбургу состоит на службе градоначальника? Вчера за обедом градоначальник прямо сказал это. Мы, — докончила она, — так и онемели от изумления.

Я страшно возмутился, услышав это, начал горячо доказывать всем, что градоначальник говорит это со злости на овации, которые нам делают, но она уверяла, что он говорил

искренне. Этот случай меня страшно возмутил, так как я никак не мог допустить, чтоб кто-нибудь, честно выстрадав много лет за свободу, мог изменить ей в момент торжества. Относительно же прежних попыток я знал только про случай Оржиха[138]. Содержавшийся в Шлиссельбургской крепости Б. Оржих в 1890-х годах тайно от товарищей подал прошение о помиловании и тогда же был выпущен на поселение. Впоследствии жил на Сахалине. Умер в Южной Америке. Да попытку Стародворского выскочить в солдаты незадолго до нашего выпуска из Шлиссельбурга.

Затем через год, кажется, в феврале 1907 г., на литературном вечере ко мне подошел один эсэр, нелегальный, без фамилии, которого я уже два-три раза встречал у знакомых, и сказал: — Как это ужасно! Вся эта история со Стародворским! Эти его прошения! — «Какие?» — Разве Вы не знаете? — «Знаю о его прошении тотчас после суда над ним и о прошении в солдаты незадолго до выхода». — Нет, — воскликнул он, — его прошения в 1890 и 1892 гг. с предложением услуг правительству! — «В первый раз слышу!» — Разве Бурцев Вам ничего не говорил? — «Нет!» — Но он о них знает не менее двух недель! От Вас он не должен бы скрывать!

Через несколько дней я увидел Бурцева в редакции «Былого» и спросил. Он сильно заволновался, забегал по комнате, сказал, что это уже началась болтовня, что он хотел нас пощадить и сохранить документы втайне от нас и публики. — Но раз Вам уже сказали, — прибавил он, — я не имею права скрывать! — (Конечно, я не имел в виду скрыть найденные документы от шлиссельбуржцев, а хотел только предварительно собрать о документах дополнительные сведения. Бурцев). И он мне показал копии с напечатанных им в это лето документов под № 2 и 3. Я был совершенно ошеломлен, но, расспросив Бурцева о подробностях, должен был прийти к заключению, что о подлоге здесь не может быть и речи. Никто не решился бы подделывать подписи Лерхе и

Федорова на этих бумагах, да и некоторых подробностей нельзя было даже и подделать (например, полузабытой нами попытки Стародворского отстраниться от нас в 1892 г. или его разговора с Саловой или Лопатиным еще во время его суда). И меня охватил ужас при мысли, что с такими документами департамент в сущности держит несчастного в руках, и может требовать от него многого под угрозой их опубликовать. — Необходимо, сказал я Бурцеву, прежде всего сказать об этом Стародворскому. Он, очевидно, писал все это с целью надуть и нас, и полицию, что на него похоже, но ему тогда не поверили, и не выпустили.— Но я не могу назвать себя, — ответил Бурцев, — чтоб не пошла болтовня, что я получаю ценные бумаги из департамента. — Тогда пусть Новорусский пойдет к нему и скажет, что узнал от меня, — сказал я. Новорусский так и сделал на другой же день. Не прошло и вечера, как получаю письмо от Стародворского с вопросом, какие документы находятся у меня, и чтобы я ответил ему письменно немедленно. Не желая вредить Бурцеву, я написал, что мне известно, что в тайном шлиссельбургском архиве хранятся два его скверные прошения с предложением услуг, и что я считаю это делом его дипломатии, за которую я не раз упрекал его и в Шлиссельбурге, говоря, что самая лучшая дипломатия есть искренность, так как нет ничего тайного, что не стало бы явным. Но ради его жены, считающей его героем, я не буду ничего говорить об этом в публике. Только наши дороги пойдут теперь врозь, между нами нет более общих дел, но для того, чтоб не давать посторонним повода к расспросам, я буду встречаться с ним, здороваться и прощаться. Как раз перед этим его жена и родные звали меня и К. в гости, и мы обещали. Зная, что Стародворский на днях уезжает, мы отложили визит до его отъезда. Но на второй же день после моего письма к нему у меня был сделан тщательный обыск. Письма мои и К. были запечатаны и отправлены в охранку. Это задержало визит, и, когда мы пришли к Семеновым,

Стародворский уже возвратился, и мы с ним встретились. Обоим было неловко и, посидев немного, я с К. собрались уходить. Когда я шел в дальний конец коридора за своей шапкой, Стародворский догнал меня и шепнул: — А того, что Вы называете дипломатией, никогда не было. — Я ничего не ответил, так как знал уже из его упомянутого письма, что он все отрицает.

С этого времени, сказал я, у меня утратилось товарищеское доверие к Стародворскому и потому, когда в марте (1908 г.) в Париже я услышал от Бурцева, что среди шпионов говорят, будто среди эсэров у них на службе находится такая «шишка» (я имел в виду, конечно, Азефа, но его фамилию я не говорил и Морозову. Бурцев), что провал ее произвел бы страшный скандал, я сказал Бурцеву: почему же Вы думаете, что эти слова относятся к тому, кого Вы подозреваете, а не к Стародворскому, который, благодаря своим тайным прошениям, у них давно в руках? Этим и окончилось дело, так как тогда я и не знал ничего более.

Только через месяц после возвращения в Петербург, перед самым моим отъездом на лето в деревню, одно лицо, а затем и другое сказали мне, что по сведениям из высших административных сфер, «Стародворский и теперь путается с каким-то Герасимовым» (начальником, кажется, охранного отделения или черт его знает какого, я теперь забыл). Я сказал об этих ужасных слухах своему другу Новорусскому, сказал жене своей, а больше, кажется, не успел никому, и уехал в деревню, из которой возвратился только теперь. Пока я был в Москве, мне сообщили, что Новорусский попал в прескверное положение, так как Стародворский хочет засадить его в тюрьму за распространение дурных слухов и требуют меня скорее в Петербург для его спасения и выяснения дела. Я сейчас же пошел с моей знакомой дамой Л. к той даме, которая еще в первую зиму после моего освобождения сказала за обедом о словах градоначальника, но она уже знала из газет о

суде между Стародворским и Бурцевым и сказала только: «да, припоминаю, что-то было, но я теперь уже не помню ясно», и сейчас же переменила разговор.

Тогда от меня стали требовать, чтоб я назвал того, кто сказал «путается с Герасимовым», но я наотрез отказался»

Когда Морозов пришел ко мне и спросил, какие прошения Стародворского имеются у меня, я рассказал ему обо всем, что знал о деле Стародворского, и выслушал его соображения.

Сколько мне помнится, Морозову я тогда же прямо сказал, что говорить Стародворскому о том, что у меня имеется текст его прошений, нельзя, так как он сообщит об этом в департамент полиции и там легко догадаются, о каких прошениях идет речь и каким образом я мог их получить.

В тот же день мы вызвали Новорусского и говорили втроем. Вскоре я виделся с Лопатиным и его тоже посвятил в это дело.

Меня очень поразило то, что все эти трое шлиссельбуржцев, хорошо знавшие Стародворского и обстановку, в которой могли писаться эти его прошения, не только сразу согласились со мной, что он, действительно, писал эти прошения о помиловании, но и в том, что и в данное время он состоит в каких-то отношениях с охранкой.

Глава тридцатая

Предъявление мной обвинения Стародворскоыу и сделанное ему предостережение — Стародворскнй снова начинает заниматься политикой

Я знал, что Стародворский в это время был уже членом партии народных социалистов[139] и даже, кажется, членом ее ЦК. В некоторых общественных группах он пользовался абсолютным доверием и огромным уважением, как старый революционер и шлиссельбуржец. Его роль поэтому могла

оказаться в высшей степени опасной для всего революционного движения. Поэтому, несмотря на весь огромный риск и лично для себя (я жил тогда в Петербурге и был, следовательно, в полной власти охранников) и для дела, которое вел, я в конце концов решился вызвать Стародворского на объяснение и предостеречь его. Я только не считал возможным показать ему текст его прошений, что давало бы нить для выяснения моих связей с департаментом полиции, и решил сказать ему, что эти сведения, не оставляющие никаких сомнений, я получил от одного прокурора, и даже попытаться дать ему понять, что текста этих прошений у меня нет.

По какому-то поводу я вызвал к себе Стародворского в редакцию «Былого». Когда мы остались с ним в моем кабинете с глазу на глаз, я решился предъявить ему обвинение.

...Мы не сразу подошли к вопросу о его прошениях. Сначала я долго ему говорил, с каким восторгом я встретил его освобождение из крепости, какое огромное значение имело убийство Судейкина для общественного движения, что его взгляды на революцию, на народ, на общество для меня очень близки, что его воспоминания представляют огромнейший общественный интерес, что он еще будет играть большую роль и т. д.

Все то, что я говорил, видимо, глубоко трогало Стародворского. Говорил я от души и говорил то, что думал. Стародворский мне поддакивал и сам начал рисовать в радужных красках свое будущее.

Затем я совершенно неожиданно сказал ему:

— Как было бы хорошо, если бы Вы, Николай Петрович, на несколько лет уехали бы, например, в Америку, оттуда бы нам писали, вошли бы в американскую жизнь и потом со знанием этой новой жизни Вы приехали бы в Россию, как нужный культурный деятель с новыми словами.

Эти мои слова его поразили. Они слишком не гармонировали с тем, что я ему только что говорил, и он меня спросил:

— Зачем мне уезжать? Я могу работать в России.

— Нет, Николай Петрович! Вам не нужно оставаться в России, — стал я отчеканивать свои слова. — Вам нужно уйти от общественной жизни. Надо, чтобы Вас на некоторое время забыли!

— Почему? — спросил он.

— Николай Петрович, — ответил я ему, — я положительно знаю, что в 1890 и 1892 гг. Вы из Шлиссельбургской крепости подавали прошения о помиловании.

— Это неправда! Это ложь! — стал он почти кричать.

— Это — правда, Николай Петрович! Мне это говорил самый компетентный человек. Он мне это доказал!

Последние слова я произнес, сильно подчеркивая их, и несколько раз их повторил. Но, как ни хотелось мне в тот момент, я не решился однако сказать Стародворскому, что я сам видел эти его документы и что копии их у меня имеются.

Стародворский продолжал горячиться, протестовал, грозил.

Тогда я ему добавил: у меня есть еще сведения, что, выйдя из Шлиссельбургской крепости, Вы встречались и продолжаете встречаться с чинами департамента полиции.

Передо мной стоял не то совершенно растерявшийся, не то до белого каления взбешенный человек, со злобными испуганными глазами. Он мне показался еще большего роста, чем был на самом деле. Он задыхался, слова его были отрывисты. Он рвал и метал. Такой же, по всей вероятности, был Стародворский в тот момент, когда ломом убивал Судейкина.

— Николай Петрович, не будем спорить! Я не хочу настаивать на том, что я сказал. То, что я Вам говорю, я сообщил только двум своим ближайшим друзьям, но ни я, ни они никогда никому не скажем того, что я Вам говорил сейчас. Ваше имя, Ваше участие в убийстве Судейкина, Ваше двадцатилетнее пребывание в Шлиссельбурге нам бесконечно дороги и ради всего этого я Вас прошу: не занимайтесь революционной деятельностью! Если Вы не сможете уехать в Америку, то

хоть уйдите в России в культурную деятельность! У Вас богатые силы, Вы много там сделаете.

Стародворский продолжал горячо протестовать.

— Если Вы не порвете сношений с революционным миром, я сочту своей обязанностью напечатать то, о чем я толькочто Вам говорил.

— Никаких Ваших угроз я не боюсь! — сказал Стародворский. — Никаких условий я не принимаю! Но я вообще устал, я давно решил уйти от общественной деятельности.

Я подошел к Стародворскому, крепко пожал ему руку и сказал:

— Все, чем только в этом случае смогу быть Вам полезным, я сделаю!

Стародворский, видимо, был подавлен, смущен, но до конца энергично протестовал против обвинений.

В то время я имел в виду добиться от Стародворского только одного — чтобы он ушел от политики в культурную работу или занялся бы своими личными делами, если уж не мог уехать за границу. Более резко выступить против Стародворского и начать открыто обвинять его в сношениях с охранниками я в то время не хотел... Дело Стародворского являлось лишь частью всей намечавшейся борьбы с охранниками.

Я не обвинял Стародворского прямо в сношениях с охранниками вначале, даже и тогда, когда уже находился в Париже, вне досягаемости департамента полиции, прежде всего потому, что я хотел ликвидировать его дело возможно более незаметно. Для меня было очень тяжело связывать обвинение в провокации с именем шлиссельбуржца. Я надеялся, что в конце концов от Стародворского, который, конечно, не должен был иметь ничего общего с департаментом полиции, можно было добиться, чтобы он совершенно ушел в сторону от охранников. Мой первый разговор с Стародворским позволял мне думать, что он хорошо понял опасность того пути, на котором он стоял.

В Петербурге я пробыл еще месяц-полтора. Мне казалось, что Стародворский как будто действительно рвет свои связи с революционерами. Вскоре мне пришлось эмигрировать; за раницей и в Финляндии меня захватила борьба по разоблачению целого ряда провокаторов и дело Азефа более всего. На несколько месяцев Стародворский почти совсем исчез с поля моего зрения.

Весной 1908 г. приехавший из Петербурга в Париж Морозов сообщил мне, что там Стародворский снова пытается принимать участие в революционных организациях и еще в начале 1907 г., оказывается, делал попытку проникнуть на тайный съезд эсэров в Таммерфорсе в Финляндии.

В Петербурге Стародворскому его товарищи, которых я вполне посвятил в дело, дали понять, что знают о моем разговоре с ним, и что он не должен принимать участие в революционных делах. Морозов частным образом сообщил коекому о моих подозрениях насчет Стародворского. От Морозова потребовали объяснений. Он не счел возможным сказать все, что он от меня знал, и только сослался на меня.

Очень многие, между прочим, среди известных писателей и общественных деятелей, решительно приняли сторону Стародворского против меня и Морозова. Всем казалось чудовищной несообразностью обвинять шлиссельбуржца в сношениях с охранкой.

Глава тридцать первая

Опубликование отдельным листком четырех прошений Стародворского о помиловании — Комментарии к ним Лопатина — Мое предисловие к листку

Я увидел, что Стародворский нарушил то, что было между нами условлено. Было слишком ясно, какую опасность представляет Стародворский для всего общественного движения, и тогда я решился сделать открытый вызов Старо-

дворскому, хотя прекрасно понимал и всю ответственность этого моего шага, и всю трудность моего положения при обвинении.

У меня не было никаких документов, с которыми можно было бы доказывать обвинение, если бы Стародворский стал отрицать свою вину и обратился бы с обвинением меня в клевете в обыкновенный коронный суд или в третейский.

У меня были только копии документов Стародворского, но не было подлинников. Когда у меня бывали в руках тома, принесенные из департамента полиции, я не решался вырвать подлинные документы, чтобы не возбудить подозрения при возвращении этих томов. Получать эти документы и возвращать их при тогдашних полицейских условиях, когда за мной велась усиленная слежка, мне приходилось всегда с огромным риском. Малейшая моя оплошность или оплошность кого-нибудь из тех, с кем я работал, могли навести на след охранников и погубить все дело, а потом легко помочь расшифровать все мои связи с департаментом полиции. Поэтому мне приходилось с крайней осмотрительностью привлекать к расследованию дела каждое новое лицо. Кроме того, документы я получал на короткое время. Мне надо было просмотреть их, отметить, что представляет интерес, отнести на квартиру К. для переписки и возможно скорее возвратить документы в департамент полиции. Эти сложные конспиративные сношения в продолжение нескольких месяцев я мог благополучно вести в Петербурге под носом у охранников, и они потом все время оставались тайной для охранников только потому, что в это дело я не вмешивал ни одного лишнего человека.

Прошения Стародворского о помиловании были в моих руках еще с начала 1907 г. Некоторые шлиссельбуржцы, как Новорусский, Морозов, потом Лопатин, тогда же настаивали на том, что их надо опубликовать.

Я долго воздерживался от этого. Но после сведений, полученных из Петербурга, что Стародворский снова пытается принять участие в революционном движении, я с его прошениями познакомил, кроме шлиссельбуржцев, еще некоторых своих друзей и хотел выслушать их мнение. Большинство стояло за то, что документы нужно опубликовать; весной 1908 г. я решил напечатать их в «Былом». Корректурные листы этих документов с моим введением я разослал близким для меня лицам. Во введении я говорил о Стародворском, что он имеет «привычку кувыркаться перед голубым мундиром». Кропоткин просил меня не делать таких намеков.

Выслушав замечания насчет текста моего введения тех, мнением которых я дорожил, я значительно смягчил первоначальный текст моего предисловия и выбросил из него намек на кувыркание Стародворского перед голубым мундиром. Полностью подлинный текст я однако передал суду. Но чтобы не задержать выпуска книжки «Былого» и не придавать особенно большого значения этим документам до суда, я их напечатал отдельным листком.

...Здесь я приведу несколько выдержек из прошений Стародворского о помиловании, чтобы подлинными цитатами из них напомнить одну из самых трагических страниц не только из истории русских политических тюрем, но и из истории всего русского освободительного движения.

Первое прошение на имя директора департамента полиции Стародворским было подано 19 октября 1889 г., после двух лет сидения в Шлиссельбургской крепости. В это время заключенные в крепости, и Стародворский между ними, объявили голодовку и добивались изменений тюремного режима. Стародворский тайно от своих товарищей послал директору департамента полиции заявление, где, описывая тяжелое положение голодающих, просил о немедленном изменении тюремного режима.

Стародворский писал:

«Я убеждаю Вас во имя справедливости, присущей каждому человеку, во имя человеколюбия, справедливо приписываемого русскому народу, наконец, во имя чести царствующего государя, не увеличивать сознательно этой печальной летописи жертв и еще раз пересмотреть этот самый существенный для всех заключенных вопрос. (Речь шла о тюремной библиотеке. Бурцев).

Может быть, кому-нибудь покажется странным, что я забочусь о чести государя, но я надеюсь, что Вы не заподозрите моей искренности: Вы присутствовали на суде, когда разбиралось мое дело, Вы слышали мою защитительную речь, и Вы знаете, что я уважаю верховную власть, что я — монархист по убеждениям».

Стародворский кончает свое прошение уверением, что после девятидневной голодовки совершит самоубийство.

У меня сохранился приговор суда по делу Стародворского и экземпляр изданного мной листка, на полях которого имеются очень любопытные примечания Лопатина.

На первом прошении Стародворского против его рассказа о покушении на самоубийство рукой Лопатина написано: «Комедия».

Вот текст второго прошения Стародворского о помиловании:

«Ваше Превосходительство!

Я решился подать на Высочайшее Имя прошение о помиловании, но прежде, чем сделать это, я считаю своим долгом обратиться к Вам за советом и покровительством. Вам известны мои намерения и искренность моих чувств, и я убедительно прошу Ваше Превосходительство не оставить меня своей помощью. Я всецело вручаю свою дальнейшую судьбу в Ваши руки, но, как бы она ни была решена, в настоящее время я покорнейше прошу Вас сделать распоряжение, чтобы для меня ремонтировали какую-нибудь из удобных камер (№ 8-й) в старой тюрьме; при настоящем моем настроении мне крайне тяжело оставаться среди своих товарищей по заключению».

В препроводительной бумаге от 31 августа 1981 г. в департамент полиции подполковник Федоров писал:

«Врученный мне сего числа арестантом № 29 закрытый пакет на имя Вашего Пр-ва при сем препровождая, честь имею доложить, что арестант этот, с некоторого времени находящийся в мрачном настроении духа, усиленно просит меня о переводе его в здание старой тюрьмы и что просьбу эту о переводе в виду совершенного в 1890 году арестантом № 29 покушения на самоубийство я удовлетворить со своей стороны признал невозможным как по этой причине, так и потому, что в старой тюрьме удобных камер для помещения арестантов вовсе не имеется».

При этих двух документах в особом конверте была приложена следующая небольшая записка:

«В прошлом феврале была приготовлена мною для Вас записочка о покушениях на жизнь Государя, которые систематически производились с 1881 г. по 1884 г включительно. Из семи бывших в этот промежуток времени покушений некоторые крайне важны и могут быть повторены при тех же самых условиях (например, бывшее в 1881 году во дворце)».

Против этой записочки особенно восставал и Стародворский, и суд. Они находили ее совершенно абсурдной.

Эта записочка, по мнению суда, должна была обратить особое внимание своим несообразным содержанием, которое делало маловероятным отнесение ее к Стародворскому.

Для меня происхождение этой записочки было и тогда вполне понятно. Я был убежден, что она принадлежит именно Стародворскому и была, быть может, одной из многих других записочек, написанных им для подполковника Федорова, чтобы убедить в необходимости ходатайствовать о его освобождении. Стародворский, очень вероятно, вообще не раз вел с ним разговоры в духе этой записочки.

Покушение на цареубийство в 1881 г. (в Аничковском дворце), составлявшее в то время большую тайну для всех, Стародворский мог узнать в Шлиссельбургской крепости со слов шлиссельбуржцев Ювачева[140] и Морозова, с кем он в то время вместе гулял, кто из числа очень немногих знал об этом. Эти соображения были мне сообщены Морозовым и Лопатиным. Но на них я особенно настаивать на суде не мог. Для этого мне нужно было бы ссылаться на Морозова и Лопатина, а я не хотел на суде называть ни одного лишнего имени, в особенности тех, кто жил в то время в России или, как Лопатин, мог скоро возвратиться туда. Но, не делая никаких ссылок, я все-таки сказал суду, что эти сведения именно и могли быть известны Стародворскому и что он мог их узнать от кого-нибудь из сидевших в Шлиссельбургской крепости.

Против этого места приговора суда, где говорится об абсурдности записочки, Лопатин замечает: «А для чего поддельщик» сработал такую несообразность?»

Третья записка была написана Стародворским 29 мая 1892 года на имя коменданта Шлиссельбургской крепости. Вот отрывок из нее:

«Уж более двух лет, как во всем моем умственном складе произошел полный переворот: я убедился, что погубил свою жизнь, следуя ложному пути, что я совершил преступления, думая, что я исполняю свой долг.

Это убеждение сложилось у меня вследствие более близкого знакомства с деятелями революционной партии и ее целями. До своего ареста прочных политических убеждений у меня еще не было, да и не могло быть по моей молодости. Историю моей недолгой жизни можно передать в двух словах: я был молод (20 лет), горячо любил свою родину, но не имел ни политической опытности, ни знания жизни, увлекся революционным движением — и погиб. Но уже на суде я начал убеждаться, что имею очень мало общего с людьми, с которыми очутился на одной скамье подсудимых. Так,

например, когда я в своей защитительной речи высказал свое глубокое убеждение, что монархия есть единственно возможная и необходимая для России форма правления, то Салова и Лопатин сделали мне замечание в том смысле, что я, признав себя членом партии Народной Воли, не имел права в то же время признавать себя и монархистом.

В Шлиссельбурге я окончательно убедился, что я коренным образом расхожусь с действительными членами социально-революционной партии по всем основным вопросам как политической, так и экономической программы. В силу этого, обдумав свое положение, я решил обратиться к правительству с просьбой о помиловании.

Для смягчения своей виновности я не стану ссылаться на обстоятельства, толкнувшие меня на революционную дорогу, ни на тот факт, что в продолжение моей кратковременной революционной деятельности я не достиг еще гражданского совершеннолетия, так как даже в день моего ареста (18 марта 1884 года) мне не было полных 21 года, — свою надежду я возлагаю единственно на всем известное милосердие Государя, к которому я и прибегаю.

Посему покорнейше прошу Вас, г. Комендант, сообщить высшему начальству о моем чистосердечном раскаянии и, если оно найдет возможным, повергнуть к стопам Всемилостивейшего Государя Императора вместе с моей глубочайшей преданностью Его священной Особе мое искреннее желание своею дальнейшею жизнью загладить свое прошлое и заслужить Его всепокрывающее собою прощение».

На этом прошении Стародворского рукой делопроизводителя департамента полиции Лерхе было написано:

«Г. товарищ министра изволил приказать оставить прошение арестанта № 29 без последствий и без ответа.

6 июня 1892 г.»

По поводу третьего документа суд в своем приговоре высказал мнение, что если Стародворский, действительно, два-

жды обращался к властям с просьбой о помиловании, то является странным, что эти просьбы не имели никаких последствий в то время как, насколько известно, суд в соответствующие годы царства Александра III подобные просьбы важных политических заключенных удовлетворял.

По этому поводу на полях приговора Лопатин написал:

«1) Сначала было рано, 2) а потом его разговоры с товарищами о побеге мешали верить его искренности».

22 мая 1905 года Стародворский пишет на имя министра внутренних дел четвертое свое покаянное прошение:

«Его Высокопревосходительству
Господину Министру Внутренних Дел.

Ваше Высокопревосходительство!

С того времени, как я узнал о войне с Японией, у меня явилось намерение обратиться к Вам с просьбой о разрешении мне поступить в манчжурскую армию. Но я надеялся, что по случаю рождения Наследника Престола будут сокращены сроки и содержащимся в Шлиссельбургской тюрьме. Этим случаем я и хотел воспользоваться, чтобы подать свою просьбу. Желание воспользоваться общим применением манифеста обусловливалось у меня причинами морального характера, как следствие долголетнего совместного пребывания в тюрьме с другими товарищами по заключению.

Но в настоящее время я убедился, что ожидать сокращения сроков по вышеуказанному поводу нет более основания, все же остальные соображения перевешиваются у меня желанием вместе с другими русскими людьми оказать и со своей стороны содействие правительству в той тяжелой задаче, которую ей приходится выполнять в защите интересов нашей родины. Как бы ни была незначительна польза, которую я могу принести, но для государства будет уже та выгода, что не придется бесплодно тратить средства на мое содержание в тюрьме.

Посему я решился обратиться к Вашему Превосходительству с покорнейшей просьбой исходатайствовать для меня у Государя разрешение поступить в манчжурскую армию рядовым или добровольцем, как будет уместным.

Для меня это будет особая милость, за которую я на деле постараюсь доказать свою благодарность Государю; тем более, что я вполне ясно представляю себе ту громадную важность для всего будущего России того или иного исхода происходящей войны.

Я ничем, кроме своего слова, не могу уверить Ваше Высокопревосходительство в том, что не злоупотреблю Вашим доверием в случае, если Вы найдете возможным уважить мою просьбу. Но самый факт обращения с моей стороны с подобной просьбой уже налагает на меня нравственное обязательство не принимать в будущем никакого участия в противозаконной деятельности».

Но этого заявления Стародворский не подавал. Его в оригинале нашли в камере после его отъезда в Петербург, и Лопатин привез мне в Париж. Было ли в то время Стародворским подано другое аналогичное заявление на имя петербургского митрополита, как об этом я писал со слов Лопатина, трудно теперь сказать, но Стародворский это категорически отрицал.

Документы Стародворского, изданные мной отдельным листком, как оттиск из журнала «Былое», я сопроводил предисловием, которое в свое время вызвало сильные протесты Стародворского и суда.

В этом своем предисловии я писал следующее:

«Мы печатаем документы о Стародворском потому только, что в подлинности их у нас нет никакого сомнения. Все они сняты нами с оригиналов, писанных его рукой. Стародворский знает, что они в наших руках уже более года. Мы могли ожидать, что он уйдет с политического горизонта, постарается, чтобы его все забыли, хотя бы для того, чтобы его старым товарищам по долголетнему заключению и его новым друзьям по недоразумению не пришлось перестрадать ужаса, который должен овладеть ими при чтении этих документов. Ради них, а не ради самого Стародворского, мы не пе-

чатали этих ужасающих по своему значению документов человеческой души. Но за последнее время мы многое слышали о Стародворском: он занимается политикой, дает свое имя для политических органов, все еще считает для себя позволительным фигурировать в качестве шлиссельбуржца и, как таковой, печатает свои портреты на поглядение и восхищение всех грамотных людей, и с каким-то непонятным цинизмом снабжает собственные портреты автографом: «взявшись за гуж, не говори, что не дюж!», т. е. убивши жандармского полковника Судейкина, не валяйся в ногах у Дурново[141] и не кричи: «Ваше Высокопревосходительство! Подайте руку помощи!»

Стародворский сделал бы лучше, если бы сам издал свои прошения, которые в настоящее время вынуждены опубликовать мы, и добавил к ним многое недоговоренное и пропущенное.

Вот к этого рода своим воспоминаниям он мог бы приложить свой портрет и снабдить его автографом: не берись за гуж, когда не дюж!»

По поводу моего листка вскоре из России мне написал Морозов следующее:

«... Если у Вас, — писал он, — нет достоверных свидетелей о современных сношениях Стародворского с администрацией, берегитесь поднимать это обвинение! В Вашем предисловии, которое мне не особенно нравится, высказано только порицание Стародворскому за его шлиссельбургские дела, и нет ничего определенного о современных, этим и надо ограничиться».

Глава тридцать вторая

Приезд Стародворского за границу — Его открытое ко мне письмо в газетах — Мой ему ответ — Третейский суд между Стародворским и мной — Борьба Стародворского в Петербурге с Морозовым и Новорусским — Письма шлиссельбуржцев в защиту Стародворского — Свидетели на суде

После опубликования мной документов Стародворского он выступил в русских газетах с открытым ко мне письмом.

Стародворский писал, что он обвиняет меня в том, что я, получив из департамента полиции «якобы им писанные документы», немедленно же не предъявил ему копии с означенных документов, засвидетельствовав точность этих копий своею подписью и подписью лиц, в присутствии которых эти «якобы подлинные» документы я копировал, что, не дожидаясь третейского суда, я напечатал листок с прошениями о помиловании, за который я подлежу «бесспорной ответственности по законам всех цивилизованных стран», и что своим злонамеренным образом действий я, распространяя слухи и подозрения об его службе в охранном отделении, причинил ему моральный ущерб и нанес оскорбление, глубины которого я не в состоянии понять. Стародворский не отрицал, что первый и четвертый документы писаны им «при исключительных условиях», но им лично никому не подавались, были лишь только проектами и не заключали в себе ничего «лично его» «компрометирующего». Он требовал, чтобы напечатанные и переданные мною отдельные экземпляры моего листка были немедленно вытребованы от тех, кому я их посылал, и уничтожены. В заключение он соглашался, несмотря на весь вред, который я ему причинил, извинить меня, если будет доказано, что я был введен в заблуждение, а не поступал злонамеренно.

Стародворский вначале имел в виду обратиться с жалобой на меня во французский суд, где он рассчитывал легко добиться моего осуждения. Но эмигранты, к кому он обратился, объяснили ему, что для него это будет очень невыгодно. Да такой суд, конечно, не улыбался и департаменту полиции. Выступая в печати со статьями об Азефе, Жученко, Путяте[142], Стародворском, я всегда имел в виду не только лично их и даже не столько их, сколько политику и практику охранных отделений и департамента полиции.

На письмо Стародворского я сейчас же напечатал в русских газетах свой ему ответ.

«Опубликовал (я) прошения г. Стародворского, — писал я, — потому, конечно, что смог проверить их подлинность, и сделал это после того, как десятки выдающихся общественных деятелей, в том числе многие из шлиссельбуржцев, познакомились с этими документами и согласились с необходимостью их опубликования в данное время.

Иные, может быть, признают подлинность документов г. Стародворского, но не найдут в них и его поведении после освобождения ничего вызывающего возмущение, по крайней мере, признают за лучшее систему замалчивания, — с логикой этого рода людей мы ничего общего не имеем».

В «Киевских Вестях» (в конце сентября 1908 г.) появилась беседа с каким-то шлиссельбуржцем, и этот шлиссельбуржец заявил, что ему представляются несообразными и неправдоподобными те два документа, которые Стародворский назвал в своем письме к г. Бурцеву подложными, и они, по мнению этого шлиссельбуржца, не только не вяжутся, но прямо противоречат действительным фактам и в том числе самому существенному — двадцатилетнему заключению Стародворского в Шлиссельбургской крепости.

...В своем письме в газеты и на суде Стародворский упрекал меня еще и в том, что я опубликовал его прошения, не предупредив его и до третейского суда. На это я ему ответил следующее:

«О документах, касающихся г. Стародворского, я лично ему говорил более 1½ года тому назад, — тогда же ему о том же говорили некоторые из его бывших товарищей шлиссельбуржцев. Я слышал стороной о решении Стародворского вызвать меня на третейский суд еще в Финляндии летом 1907 г., слышал в Париже о том же в апреле этого года, — но никакого вызова от г. Стародворского не получил».

Весной 1908 г. Стародворский был в Париже, и мне Фигнер в частной беседе передала, что Стародворский решил

вызвать меня на третейский суд. Я, конечно, тогда же заявил, что вызов приму. Но со времени этого случайного моего разговора с Фигнер прошло много времени и никакого вызова от Стародворского я не получил.

Тогда я решил его прошения напечатать. Формального обвинения в сношениях с охранниками я не предъявлял Стародворскому и поэтому только и мог состояться наш третейский суд. Иначе я ему предложил бы разбирать дело в какой-нибудь специальной комиссии или обратиться в обыкновенный французский суд.

После опубликования его прошений о помиловании Стародворский поторопился с вызовом меня на третейский суд и своим представителем прислал ко мне Носаря. Я сейчас же принял вызов и через несколько дней сообщил Носарю имена своих представителей.

Третейский суд состоялся под председательством эсдека Л. Мартова (Цедербаума), при участии Г. С. Носаря (Хрусталева)[143] и француза, адвоката, хорошо знакомого с русскими делами, Эжена Пти[144], со стороны Стародворского, а с моей стороны — А. Гнатовского и Мазуренко[145].

Вызвав за границей меня на третейский суд, Стародворский одновременно в Петербурге напал на своих бывших товарищей по Шлиссельбургской крепости Морозова и Новорусского. Он знал, что они одинаково со мной смотрели на него и что с ними я делился всеми своими сведениями о нем с тех пор, как у меня зародились сомнения на его счет.

Стародворский обоих их обвинял в том, что они дали мне разрешение напечатать документы о нем и с моих слов распространяли в Петербурге обвинения против него. Специально Морозова Стародворский обвинял еще и в том, что про него он говорил, что он «путается с Герасимовым».

Шлиссельбуржцы Лукашевич[146], Шебалин[147] и С. Иванов, как об этом мне писал Морозов в письме от 24 ноября, пригласили его и Новорусского к Якубовичу и в присутствии

Стародворского требовали назвать лицо, от которого он слышал о сношениях Стародворского с Герасимовым.

«Стародворский, — сообщал мне в том же письме Морозов, — уже и ранее грозил привлечь Новорусского к мировому и советовался уже «с юристом», который ему сказал, что за распространение в публике печатно или устно или за содействие в печатании слухов, позорящих репутацию человека, независимо от того, справедливы они или нет, виновный подвергается заключению на несколько недель за диффамацию, если слухи верны, и за клевету, если они ложны».

В своих письмах ко мне из России Морозов и Новорусский поддерживали меня в моих обвинениях Стародворского.

«Вы, — писал мне Морозов (9.II.1908 г.), — действовали во всем, как повелел Вам долг, а следовательно, и тревожиться душевно вам нет никакой причины. Поверьте, что нет ничего тайного, что рано или поздно не сделалось бы явным».

«В решении суда для меня нет сомнения, а все, что Вы сообщаете о Вашей постановке дела, убеждает, что Вы стали на совершенно твердую почву и совершенно правы, не идя навстречу усиленным попыткам Стародворского запутать дело, отвлекая внимание суда на посторонние для дела мелочи. Если что-нибудь ужасно (для меня) в этом деле, так это то обстоятельство, что отвергать, при современной огласке, существование напечатанных вами документов, это — отдавать себя в полную власть тех, в чьих руках они находятся, и которые при первой попытке уклониться всегда могут поставить альтернативу опубликовать их в подлинниках или действовать совместно, да и как можно бы было сделать подобный шаг, не обеспечив заранее у себя тыла? Меня охватывает ужас при мысли, что с такими документами департамент, в сущности, держит несчастного в руках и может требовать от него многого под угрозой их опубликовать».

Тогда же Морозов прислал мне записку «Для заявления в суде между Бурцевым и Стародворским». В этом заявлении

он говорил, что никакого разрешения опубликовать документы я от него и от Новорусского не требовал, а если бы потребовал, то, конечно, ему дали бы.

В Петербурге после объяснений, бывших между шлиссельбуржцами по делу Стародворского, в газетах за подписью Лукашевича, С. Иванова, Шебалина, Ашенбреннера[148] и Попова[149] появилось их коллективное письмо.

В нем они заявляли, что обвинение Стародворского в сношениях с охранным отделением лишено всякого основания. Нападали они, собственно, на Новорусского и Морозова, но, конечно, они имели в виду главным образом меня, потому что все обвинения против Стародворского исходили от меня и я выступил открытым его обвинителем. Так это понимала тогда и публика.

...Суд по делу Стародворского тянулся пять-шесть месяцев. Он занял бесконечное количество заседаний.

Судьи допрашивали меня, допрашивали Стародворского, допрашивали свидетелей, разбирали документы.

Стародворский обвинял меня в клевете, легкомысленном отношении к его доброму имени, клялся и божился, что никогда не писал приписываемых мной прошений и, конечно, возмущался самым намеком на возможность обвинения его в сношениях с департаментом полиции.

Он много говорил о своих заслугах в революционном движении и о своем свыше двадцатилетием заключении в тюрьме. Решительно отрицал возможность существования двух документов, копии которых я опубликовал. Он напирал на то, что я не только не представил подлинников, но даже судьям не могу рассказать, при каких обстоятельствах и от кого я их получил.

Эти клеветнические, сфабрикованные документы, по его словам, я мог получить только из мутного полицейского источника.

На суде свидетелями были: Фигнер, Натансон, Лопатин, а в России по этому делу допрашивали: Анненского[150], Якубовича, Морозова, Новорусского, Венгерова[151], Богучарского, супругов К. и др. В числе свидетелей в Париже, по моему указанию, допрашивался бывший посредник между мной и чиновником департамента полиции, доставлявший документы, живший в то время уже за границей, как эмигрант. Но, конечно, от этого свидетеля я потребовал, чтобы он не раскрыл личности того лица, кто нам доставлял документы. На некоторых заседаниях, на которых не мог присутствовать Стародворский, в качестве его додоверенного лица присутствовал его родственник Е. П. Семенов.

Глава тридцать третья

Допросы свидетелей — Моя записка для суда по делу Стародворского — Мое последнее слово Стародворскому на суде

При разборе дела главное внимание суд, конечно, все время обращал на опубликованные мной покаянные прошения Стародворского. Судьи допрашивали меня, кто мне передал эти документы и при каких обстоятельствах, кто именно их видел и переписывал и т. д. Но если в настоящее время мне было бы легко рассказать суду, какой именно чиновник приносил мне из департамента полиции документы, то в то время я вынужден был об этом молчать. Самое большее, и то после больших колебаний, сознавая, с каким огромным риском я это делал, на что я тогда согласился, это было то, что решился лично мне известным петербургским литераторам Венгерову, Анненскому и Якубовичу сообщить имя К. и ее мужа, живших тогда в России, у кого на квартире снимались для меня копии со шлиссельбургских документов и кто, кроме меня, изучал их. По поручению суда, Анненский и Венгеров, допрашивали К. Выслушав и проверив показания

К., они прислали в Париж суду свое заключение. «Кроме меня, по словам их доклада, документы видели два компетентных лица (К. и ее муж), люди вполне добросовестные, и что они, как и я, глубоко убеждены в подлинности документов». Но подлинных документов все-таки не было, и самому суду не было сообщено, откуда и через кого они были получены. Это давало судьям повод все время и после заявления петербургской комиссии продолжать говорить о недостаточности оснований доверять копиям, мной доставленным.

Защищаясь, Стародворский однажды сказал судьям:

— Ведь для того, чтобы верить Бурцеву, надо допустить, что после тогдашней моей голодовки я был в таком ненормальном положении, что мог писать эти прошения, сам не сознавая того, что я делаю, а теперь о них забыл!

…В одном из первых заседаний суда по делу Стародворского судьи потребовали от меня объяснений, кто из шлиссельбуржцев соглашались на необходимости опубликовать документы Стародворского и со слов кого из них я написал примечания к четвертому прошению. Хотя судьи знали, о ком из шлиссельбуржцев идет речь и кто мне дал сведения для известного примечания, но я отказался указать на какие-нибудь имена. Я знал, что некоторым из принимавших участие в суде, особенно в начале его — до разоблачения Азефа, очень хотелось, привлечь к делу вместе со мной, как обвиняемых и Лопатина, Морозова, Новорусского и др. Я никоим образом не хотел это допустить. Поэтому всю ответственность за издание листка я взял исключительно на себя и этого держался во все время разбора дела Стародворского.

На том же заседании суда речь шла о каком-то резком письме Лопатина о Стародворском, по поводу которого мне скоро написал Лопатин.

По поводу того, что о деле Стародворского я сообщил Лопатину, он в одном из своих ко мне писем (26.II.1908.) написал:

«Везде и всегда суды не признают частных разговоров, частной переписки и пр. и принуждают свидетелей выкладывать устно и письменно все, что им известно. Но это длинная тема. Во всяком случае, возвращаю Вам Ваше письмо с моей перепиской, быть может, несколько ядовитой, но вполне справедливой. Можете поступить с этими документами, как знаете.

Можете представить его (письмо) в суд или нет. Это Ваше дело, а мне это совершенно безразлично.

Не могу не высказать по этому поводу одного сомнения.

Обыкновенно допросы по делам этого рода не производятся в присутствии обвиняемого, а равно и письменные документы предъявляются только судьям, которыми избираются люди, пользующиеся безусловным доверием обеих сторон. Делается это потому, что если бы подозрения против обвиняемого подтвердились и он оказался действительно шпионом, то многие из свидетелей и авторов письменных документов могли бы пострадать от руки правительства.

Даже признаваемые самим Стародворским документы № 1 и № 4, а равно и ходившие о нем слухи (из трех источников), повидимому, приглашали и в данном случае к такому осторожному образу действий. Но парижский суд, как кажется, смотрит на это иначе. Он не то вручил Стародворскому на прочтение мое письмо, не то — что еще хуже — рассказал его ему своими словами. В результате — ругательное и угрожающее письмо Стародворского ко мне. Беда, конечно, небольшая — я не из робких, — но и удовольствие невелико. Sapienti sat».

Все, что в этом письме писал мне Лопатин, я передавал суду, но официально передал от своего имени, а не от имени Лопатина, опять-таки чтобы не вмешивать его в это дело, как обвиняющей и нападающей стороной. Он, как и Морозов и Новорусский, все время были в деле только как свидетели.

...Меня не совсем понимали даже Морозов и Новорусский и даже Лопатин. Они присылали мне подробные письма о деле Стародворского для передачи суду. Морозов тогда же прислал записку под заглавием: «Для заявления на суде между Бурцевым и Стародворским». Я им всем отвечал, что

категорически отказываюсь передавать суду присылаемые ими письма и записки, и самих их просил этого не делать, чтобы не расширять дела, и предупреждал их, что иначе оно может кончиться катастрофой в Петербурге.

На суде о своих делах я говорил только в таких рамках, в каких мог бы говорить в присутствии явных информаторов департамента полиции. Я был убежден, что ничего из того, о чем будет говориться на суде, не останется неизвестным в департаменте полиции. Поэтому я взял на себя все обвинение и не вмешивал в дело никого другого.

Все это, видимо, сильно раздражало суд, и он не скрывал ко мне враждебного настроения. Это явно сказалось в его приговоре.

Суд на меня все время производил вообще очень тяжелое впечатление.

С одной стороны, я ясно видел, как судьи жестоко ошибаются и как они не понимают дела, которым занимались, а между тем это были видные политические, общественные и революционные деятели.

Они с необычайным упрямством защищали абсурды и никак не могли понять, как их обманывает Стародворский.

С другой стороны, я видел, что Стародворский продолжает играть комедию и, для своей защиты, попытается обмануть и суд, и общественное мнение. Для меня не было, сомнения, что за спиной Стародворского находятся и деятельно работают опытные охранники, которые им руководят.

Судьи не могли не признать, что я был прав в целом ряде других обвинений, аналогичных с обвинением Стародворского, и никто из них не мог привести ни одного случая, где бы я ошибочно кого-нибудь обвинял.

Но тем не менее они продолжали говорить, что в деле Стародворского я ошибаюсь. Впоследствии они все должны были признать, что и в этом деле я был прав, а они позорно ошибались.

Незадолго до окончания суда я передал судьям записку, где формулировал свое отношение к делу Стародворского.

Приведу здесь из нее несколько строк.

«Почти год назад мной были опубликованы четыре документа, принадлежащие г. Стародворскому. Опубликовал я их исключительно потому, что все их считал и считаю до сих пор за документы, писанные г. Стародворским.

О подложности 1-го и 4-го документов не может быть речи, так как они не оспариваются и г. Стародворским.

Что касается документов № 2 и № 3, то, несмотря на протесты Стародворского, я их также не считаю подложными. Я их видел лично сам, при обстановке, не допускающей мысли о подделке, и мой взгляд на эти документы разделялся в то время тремя лицами, принадлежащими к нашей среде и заинтересованными лишь в одной правде. За это говорила мне серьезность и ультрасекретность путей, которыми я добыл свои документы, и то, что эти два документа получены мною одновременно среди сотен и тысяч других документов, в неподложности которых невозможно и сомневаться, и то, что во все время моих аналогичных приобретений документов я ни разу подложных не получал.

При опубликовании документов я выслушал мнения многих революционных и общественных деятелей, многих шлиссельбуржцев, но ничьего согласия не требовал и сделал все так, как подсказывала мне совесть и мое понимание служения революционной борьбе. Я считал обязательным в наше страшное время со всей энергией бороться против всего, что я считаю отступлением в революционной борьбе, и думал и продолжаю думать, что какой бы шлиссельбуржец ни был, но кто взял в руки перо, чтобы написать что-нибудь вроде первого или четвертого документа Стародворского или второго и третьего документа, наперед должен знать, что всякий революционный суд безусловно оправдает опубликование таких «секретных» документов и осудит их авторов».

На последнем заседании суда, обращаясь к Стародворскому, я сказал ему:

— Припомните, Николай Петрович, мою просьбу в Петербурге. Я тогда просил вас уйти от общественной деятельности и обещал в таком случае не поднимать вашего дела. Вы дали мне слово и нарушили его, и вот почему я счел теперь нужным выступить против вас. Но я и теперь готов простить Вам вашу слабость в тюрьме и все то, что Вы делали после тюрьмы, но я не могу Вам простить, что Вы здесь на третейском суде, перед судьями, сознательно говорили неправду. Вы знаете прекрасно, что Вы писали эти заявления. Этой неправды на суде я Вам простить не могу и заявляю Вам, что это позволяет мне очень дурно думать о Вас и в настоящее время.

На суде я избегал каких бы то ни было разговоров с Стародворским, кроме официальных — во время допроса.

Глава тридцать четвертая

Решение третейского суда — Отдельное мнение Носаря — Мой протест против приговора — Мои письма Мартову и Носарю

В июне 1909 г. третейский суд между Стародворским и мною, наконец, после чуть не годового разбирательства, был кончен, и нам было объявлено его решение.

В приговоре по моему адресу было высказано много упреков и много порицаний.

Вот несколько выдержек из приговора:

«По поводу требования суда дать ему возможность вступить в непосредственные сношения с лицами, доставившими ему документы, Бурцев категорически говорил, что перед всяким судом такого же или иного типа он будет вынужден к той же сдержанности».

«По мотивам профессиональной конспирации Бурцев не согласился передать суду или какой-либо партии способы произвести самостоятельную попытку добыть подлинные документы».

«По мнению суда, источники, из которых получались документы, и обстановка их получения не давали достаточной гарантии их достоверности».

«Бурцевым не доказана подлинность документов второго и третьего и того, что совокупность условий получения этих документов исключает возможность подлога».

«Суд находит, что форма и характер опубликования документов должны быть признаны заслуживающими осуждения».

«Суд признает, что, опубликовав при данных условиях документы, Бурцев поступил неправильно и опрометчиво, но его ответственность уменьшается рядом смягчающих обстоятельств и искренностью убеждения его в необходимости этого акта».

Еще решительнее против меня выступил Носарь в своем особом мнении.

«Человек, — писал Носарь, — изъявивший готовность засвидетельствовать фактами и свидетелями правоту своих действий и утверждений перед лицом третейского суда, не может ссылками на профессионально-конспиративные мотивы, к тому же никем не проверенные, отказываться от сообщения суду тех или других сведений, особенно в делах, где поставлена ставка на честь и доброе имя другого человека».

«Бурцев произнес над Стародворским приговор и предостерегает общество на его счет, что является призывом к бойкоту Стародворского, и это было началом его политической смерти».

«Стародворского выставили к позорному столбу на основании непроверенных слухов по недоказанному обвинению и при отсутствии обвинителей».

«Бурцев не проявил в данном случае необходимой элементарной предосторожности по отношению к чести Стародворского и хотя в данном случае, как и во всей своей политической деятельности, Бурцев действовал в общественных интересах и бескорыстно, но и эта цель не может смягчить в моих глазах тяжести его ошибки».

От рассмотрения слухов о связи Стародворского с охранным отделением суд отказался и полагал, что оно должно подлежать компетентности специального суда по требованию заинтересованной стороны.

Решением третейского суда Стародворский таким образом, собственно, обвинен не был, но и не были признаны ложными мои обвинения. Суд только высказался «против формы и характера опубликования документов». Стародворский имел право утверждать, что 2-е и 3-е прошения им не были написаны, а я имел право утверждать, что такие прошения я видел, но не по моей вине я не мог их представить на суд.

Но общее впечатление от решения суда, однако было, несомненно, в пользу Стародворского. Председатель суда Мартов, все время смотревший на дело глазами Стародворского, «с облегченным сердцем подписал приговор», как он потом писал в своих воспоминаниях.

Общественное мнение поняло, что приговор суда прикрывает Стародворского, но оно было явно не на стороне суда.

Приговор меня глубоко возмутил.

Начиная дело, я сознательно и добровольно решился отдать его в руки главным образом своих противников. Даже одним из своих представителей, после отъезда из Парижа Мазуренко, бывшего моим представителем вначале, я назначил из рядов своих определенных противников эсдеков (Шварц-Марата). Мне казалось, дело ясно, и никакие политические соображения не должны были заменить для судей сущности дела. Я мог ожидать, что, щадя не столько Стародворского, сколько имя его, как шлиссельбуржца, суд постарается найти самые мягкие выражения для своего решения, но все-таки категорически скажет, что Стародворский виновен хотя бы в том, что написал первое и четвертое прошение, и на основании этого потребует от него, чтобы он устранился от политической деятельности. Затем, мне казалось, что суд

видел, каких мучений мне стоило это дело и с каким риском для себя я его вел, а потому с должным вниманием отнесется и лично ко мне.

Но оказалось, что судьи, среди которых были юристы, государственные деятели, партийные вожаки, обнаружили полное непонимание дела и необычайную близорукость Их совершенно ничему не научили недавние ошибки эсэров в деле Азефа.

...Но вот что особенно возмутило меня в постановлении суда, а еще больше в заявлении Носаря.

Официально я обвинял Стародворского только в том, что он тайно от товарищей, шлиссельбуржцев, подавал позорные прошения о помиловании. Но всем понятно было — и я не возражал против этого, — что я обвиняю его в сношениях с охранниками. Я только не считал нужным на этом базировать свое обвинение. Для меня достаточно было сделать Стародворского политически безвредным. Поэтомуто я принял вызов Стародворского на третейский суд, чего я никогда бы не сделал, если бы обвинял его в провокации.

Мое обвинение Стародворского в его связи с департаментом полиции придавало особый характер всему суду. Судьи это понимали, но на это не хотели обращать внимание.

Я все время открыто говорил суду, что по конспиративным причинам не могу давать некоторые разъяснения в деле, потому что опасаюсь, что, «по оплошности кого-нибудь из присутствующих на суде», сведения попадут в департамент полиции. Все понимали, что я опасался, что эти сведения туда попадут прежде всего непосредственно через Стародворского, в присутствии которого и шло все разбирательство дела. Вне заседания суда я всем говорил об этом еще откровеннее.

Когда на суде меня спрашивали, от кого и через кого я получил документы против Стародворского, кто видел эти документы, то я решительно отказался объяснить это суду и в

закрытом заседании. Некоторые судьи показывали вид, что они не могут понять, почему я отказываюсь это сделать, и на этом моем отказе строили необходимость оправдания Стародворского. Отражение этого их недовольства против меня можно видеть даже в тексте их приговора.

Но тем не менее, например, при допросе лица, передавшего мне документы от чиновника департамента полиции, бывшего тогда в Париже, судьи, а следовательно, и Стародворский (а следовательно, не только Стародворский) поняли, что документы мне передавались не каким-то прокурором, лично не связанным с департаментом полиции, как об этом, по понятным причинам, я говорил в начале суда, а одним из служащих департамента полиции.

Кроме того, по ходу дела, мне пришлось затем согласиться сообщить петербургским литераторам Анненскому и Венгерову для допроса фамилию лица, переписывавшего для меня документы Стародворского.

Но, несмотря на все мои усилия не допускать на суде излишних расследований моих конспиративных связей в присутствии Стародворского, суд во время допросов и на основании сведений, полученных им со стороны, постепенно, хотя и в общих чертах, выяснил общий характер моих конспиративных сношений с охранниками в Петербурге.

То, что сообщалось официально на суде, по-видимому, не могло дать охранникам прямых указаний, кто тот чиновник, который мне давал документы, у кого в Петербурге переписывались эти документы и кто был связан там с моими делами. Но меня и эти полунамеки, сделанные на суде, сильно беспокоили. Я знал, как часто маленькие указания, при благоприятных условиях, позволяют охранникам расшифровать интересующие их вопросы.

Когда, например, на суде помимо меня установили, что документы мне даны чиновником департамента полиции, который имел доступ к архиву — таких чиновников было

очень немного — и кто был связан с моим посредником, фамилия которого была известна нашему суду, я полагал, что расшифровать имя этого чиновника становилось делом не особенно трудным. Не было бы затем трудно установить и то, что допросы в Петербурге были поручены Анненскому и Венгерову (это опять-таки не было тайной для многих в Петербурге), и то, у кого они бывали для допроса. От приезжавших за границу из литературно-политического мира я еще тогда получал в открытках упоминания фамилии и Анненского, и К., как лиц, причастных к допросам по делу Стародворского.

Таким образом, департамент полиции мог, по-видимому, легко распутать весь клубок моих петербургских связей, и я сильно опасался, что сведения, установленные на нашем суде, в конце концов, докатятся до департамента полиции и разразятся в Петербурге катастрофой.

Когда же я получил приговор суда, то я, к моему величайшему изумлению, увидел, что все эти сведения — хотя и без указания имен — о чиновнике департамента полиции, доставлявшем мне документы, о посреднике, о переписчице, о «компетентном» третьем лице при осмотре документов, — которые должны были остаться тайной суда, не только стали известны Стародворскому, но они попали в приговор и были разосланы для напечатания в газеты.

С замиранием сердца стал я ждать роковых известий из Петербурга; будут арестованы чиновник департамента полиции, приносивший мне документы, и другие лица в связи с ним, затем будут арестованы К. и ее муж, литераторы, связанные с нашим делом, все это отразится на моих товарищах, издававших «Былое», из редакции которого я вел все сношения с департаментом полиции и т. д. и т. д.

В ожидании таких известий из Петербурга я переживал тяжелые дни и месяцы.

К счастью, однако, за все время ни одного ареста, связанного с получением мною документов из департамента полиции, не было. О чиновнике, доставлявшем мне документы, охранники догадались, кажется, вдолге после этого, когда все мои сношения с департаментом полиции были уже ликвидированы. Этот чиновник никогда не был арестован, а сам покинул департамент полиции.

Мне и до сих пор непонятно, как департамент полиции не мог выяснить мои петербургские связи, с помощью которых я добывал документы из его архивов. Я объясняю это только тем, что после дел Азефа и Гартинга, а также и дела Лопухина департамент полиции не решался на новые громкие скандалы. Ему было невыгодно гласно, — чего не могло случиться, если бы произошли аресты, — констатировать, что я имел возможность добираться до его тайных архивов и т. д. В департаменте полиции не могли не понимать, что при той прекрасной европейской и русской прессе, какая тогда была у меня, я мог хорошо воспользоваться этим делом для своей агитации.

Как только я получил текст приговора, я (7.7.1909 г.) отправил Мартову протестующее письмо.

«Сейчас, — писал я ему, — получил приговор суда по моему делу с Стародворским и отдельное мнение г. Хрусталева.

Считаю долгом заявить, что в моих глазах этот последний документ представляет собой не что иное, как доклад в департамент полиции».

Я просил Мартова, как председателя суда, сделать мое заявление известным всем его членам.

Мартов ответил мне, что письмо мое «заключает в себе намеренное оскорбление по адресу одного из членов третейского суда, нанесенное ему за действия, которые он совершил в качестве судьи», и потому он считает возможным присоединить мое письмо к документам третейского суда, но тем не

менее мое письмо он передаст Носарю. Носарь ответил мне очень резким письмом. Его у меня нет сейчас, и я о нем могу судить только по сохранившемуся моему ответу Носарю.

«Все Ваши рассуждения,— отвечал я, — о том, что мое письмо к Вам вызвано недовольством моим на сущность решения, вынесенного Вами на разборе дела моего с Стародворским, конечно, до такой степени ни на чем не основаны и нелепы, что я на этом даже не останавливаюсь.

Каждый отвечает за свои мнения и решения, — суд Ваш ответствен за свои решения так же, как я за свои действия.

Моя фраза о докладе в департамент полиции означает то, что Ваше отдельное мнение по своему значению равносильно докладу в департамент полиции и в то же время, благодаря подробному изложению и доведению до сведения широкой публики (а следовательно, и той, что на Фонтанке) всех конспиративных сведений, которые я, не подозревая того, какое Вы сделаете из них употребление, сообщил под условием тайны во время суда, послужат руководящей нитью для арестов и для изучения дела чинами департамента полиции».

Глава тридцать пятая

После решения третейского суда — Новые сведения о Стародворском — Предложение Носаря возобновить дело Стародворского — Мой отказ

Но, несмотря на все доброжелательное отношение суда к Стародворскому, он после вынесения приговора в политическом отношении был убитым человеком, и ему не было никуда больше ходу.

Судьи и все вообще сторонники Стародворского скоро поняли, что торжествовать по поводу приговора им особенно не приходится. В подавляющем большинстве общественное мнение было определенно против Стародворского. Газеты в России привели просто выдержки из приговора, как инфор-

мацию, но в то же самое время многие из них высказались определенно лично против Стародворского.

В 1912 г. я получил новые очень важные сведения, которые расшифровали многое в деле Стародворского.

Вскоре после получения этих сведений и совершенно независимо от них я еще до войны получил от одного из самых крайних своих обвинителей, бывшего судьей на суде Стародворского, Носаря, заявление, где он признал ошибочность решения суда и предлагал мне тогда возбудить вопрос о пересмотре дела.

Как ни было в то время важно лично для меня поднять дело Стародворского на основании новых сведений, полученных из двух различных источников, но в обоих случаях я отказался от этого.

Стародворский в это время решительно ни для кого не был уже опасным человеком, и я не хотел поднимать агитацию вокруг его дела, связанного с воспоминаниями о Шлиссельбурге. Раньше я поднял дело Стародворского только потому, что в то время он представлял огромную опасность для всего освободительного движения, и поднял его только после того, как мне не удалось убедить Стародворского добровольно уйти в сторону от революционного движения.

Лично с Стародворским после суда в 1909 г. я более не встречался до 1917 г.

Глава тридцать шестая

Стародворский — революционный комиссар в 1917 г. — Моя встреча с ним — Требование, чтобы он вышел из комиссаров — Сведения Доброскока и других охранников о Стародворском — Из биографии Стародворского

В начале марта 1917 г., через несколько дней после революции, в Балабинской гостинице, где я тогда жил, было собрание районных комиссаров. Комиссары прислали ко мне в номер своих представителей просить посетить их собрание.

Когда я вошел в комнату, я увидел там человек до тридцати комиссаров местного нашего участка — эсэров, эсдеков, беспартийных. Я совершенно неожиданно увидел перед собою... Стародворского. Он, оказывается, тоже был одним из местных революционеров-комиссаров. Стародворский, видимо, смутился, когда увидел меня. Но я ни на минуту не показал ни ему, ни другим комиссарам, что меня изумило присутствие Стародворского на этом собрании.

Когда я уходил, я подошел к Стародворскому и сказал ему:

— Я живу в этой же гостинице, в таком-то номере. Мне очень хотелось бы сегодня же поговорить с вами. Придите ко мне!

И те даже, кто слышал, что я сказал Стародворскому, конечно, не могли обратить на это никакого особенного внимания.

Через несколько минут ко мне в номер вошел Стародворский.

— Николай Петрович! — сказал я ему прямо без всяких тех предисловий, с которыми я начал аналогичный разговор лет десять тому назад. Вы должны сегодня же подать в отставку из комиссаров!

— Почему? — спросил он меня.

— Потому что те четыре прошения о помиловании, в которых я обвинял вас раньше, принадлежат Вам. Затем — Вы служили в охранном отделении! Вы из департамента полиции получали деньги!

На этот раз я решил сказать Стародворскому без обиняков все, что о нем знал, по возможности, конечно, в мягкой форме.

— Это неправда! Это клевета!

— Это правда, Николай Петрович! Но как в первый раз, так и теперь спорить об этом с Вами я не буду. Ваше имя, как шлиссельбуржца, мне дорого. Я не хочу, чтобы в настоящее время около него был какой-нибудь скандал. Прошу вас, сегодня же откажитесь от комиссарства!

— Повторяю, это — неправда! Это клевета! Это какая-то страшная ошибка! — уже не протестующим, а смущенным, виновным голосом говорил мне Стародворский — Но Вы видите, я болен, я с таким трудом хожу. Мне трудно заниматься общественными делами. Я и сам решил подать в отставку и уйти в частную жизнь.

Я поблагодарил Стародворского, как будто он делал этим мне личное одолжение, и еще раз попросил его верить, что его имя, как шлиссельбуржца, для меня дорого и что для него я сделаю все, что в моих силах, если он уйдет в частную жизнь.

Стародворский, действительно, тогда же подал в отставку.

Накануне этого моего объяснения с Стародворским произошел такой эпизод.

Я узнал, что в Ораниенбауме был арестован полицеймейстер, что его привезли в Государственную Думу, а через некоторое время оттуда освободили. Ему и его жене там была выдана «охранная грамота». Судя по псевдониму, под которым он был арестован, я понял, что это никто иной, как знаменитый провокатор Доброскок—«Николай-Золотые Очки», а его жена — не менее знаменитая провокаторша — Т. Цейтлин. Тогда я за своей подписью напечатал в газетах статью «Где Доброскок и Цейтлин?» и рассказал их биографию.

Номер газеты вышел утром, а в полдень мне в Балабинскую гостиницу пришли сообщить, что на основании этой моей статьи снова нашли Доброскока и его жену Цейтлин, что их арестовали и привезли как раз в наш участок. Я сейчас же пошел туда и просил обоих их допросить при мне.

Я хорошо знал их дела и сам задавал им некоторые вопросы, между прочим я задал Доброскоку вопрос, что он знает о Стародворском. Доброскок ответил мне: «Стародворский служил у нас, был известен под кличкой «Старик», получал столько-то денег, с ним он, Доброскок, имел свидания на такой-то конспиративной квартире» и т. д.

Я просил допрашивающих не записывать в протокол этих показаний. Они, видимо, сначала даже не поняли этой моей просьбы и несколько раз переспрашивали, почему не надо записывать сведений о Стародворском. Но в конце концов они исполнили мою просьбу, и сведения о Стародворском не были занесены в протокол допроса Доброскока, а были записаны только фамилии других им указанных провокаторов.

Затем я отправился в судебную палату, там говорил с кем-то об этом деле, и, между прочим, с прокурором П. Н. Переверзевым[152] и просил «отдать мне» Стародворского, не арестовывать его и не поднимать о нем никакого шума. Я объяснил, почему так надо сделать. Меня поняли и со мной согласились.

Таким образом, тогда как в 1917 году арестовывали всех провокаторов и о каждом из них появлялись в газетах разоблачения, я добился того, что Стародворский не был арестован, и в газетах о нем не было сказано ни одного слова.

Впоследствии, при разборе бумаг в департаменте полиции, были найдены расписки Стародворского на официальных бланках охранного отделения в получении денег, подписанные его рукой обычным псевдонимом «Старик», о чем мне говорил еще Доброскок на своем допросе... Один из товарищей директора департамента полиции, Виссарионов[153], а также Герасимов, Заварзин[154] и др. рассказывали мне о своих встречах со Стародворским, и я в конце концов выяснил его сношения с охранниками на основании точного документа и точных свидетельских показаний.

Четыре прошения из Шлиссельбургской крепости, опубликованные мной, Стародворский действительно писал. На его первые три прошения царское правительство не считало даже нужным ему ответить. Только в ответ на четвертое прошение, посланное летом 1905 г., его вызвали в Петербург и держали в Петропавловской крепости. Там он имел разговор с представителями департамента полиции.

По-видимому, за патриотическое прошение Стародворского предполагали освободить раньше срока, в поучение другим, но дело затянулось и революция 1905 г. застала его еще в тюрьме.

По выходе из тюрьмы Стародворский посетил некоторых из тех, с кем имел дело в Петропавловской крепости. Они оказали ему разного рода услуги при устройстве его дел, помогли уехать за границу и предложили даже деньги. Стародворский не отказался и от денег. Затем эти свои знакомства с миром департамента полиции он поддерживал и даже постепенно их расширял: так, он познакомился с начальником петербургского охранного отделения Герасимовым. На конспиративных квартирах охранного отделения виделся с Герасимовым, Доброскоком, Заварзиным, Виссарионовым и др. Бывал и в стенах департамента полиции. Продолжал получать денежные пособия от охранников. Это его все более и более засасывало в болото охранных связей.

Нечего говорить, что об этих своих связях с охранниками Стародворский от всех нас хранил полную тайну. В это время мы его, как шлиссельбуржца, приглашали посещать наш Шлиссельбургский комитет. Он ходил к нам в редакцию «Былого». Посещал различные редакционные собрания. Бывал на конспиративных политических собраниях эсэров и энэсов. Да где только он не бывал! Куда только его не приглашали! Когда Стародворский был в нашей среде, он, конечно, только нам вторил и не о своих сношениях с департаментом полиции говорил с нами.

Однажды, в самом начале 1906 г., после одного моего разговора с Стародворским, я предложил ему идти осмотреть тот дом, где на квартире Дегаева был убит Судейкин. Это было всего в пяти минутах ходьбы от моей Балабинской гостиницы. Стародворский не сразу узнал бывшую квартиру Дегаева. Мы расспрашивали дворника, разных жильцов, и в конце концов точно установили квартиру, где двадцать пять

лет тому назад Стародворский убил Судейкина, чем он и теперь гордился.

Когда я распростился с Стародворским и шел к себе домой, на Знаменской площади я встретил Короленко[155]. Он держал в руках только что вышедший номер «Былого», в котором был помещен рассказ об убийстве Судейкина и указана улица и номер дома, где было совершено это убийство. Я спросил Короленко, куда он идет?

— Да вот хочу посмотреть дом, где был убит Судейкин.

— Можете представить, — ответил ему я, — я сию минуту иду из этого дома. Я его осматривал вместе с Стародворским.

Я снова вместе с Короленко вернулся в этот дом. Короленко с огромным интересом расспрашивал меня о том, какие указания делал мне Стародворский.

Когда в 1907–1909 гг. я поднял дело против Стародворского, он ходил к охранникам и просил их уничтожить его прошения о помиловании. В Париж он ездил с благословения охранников, и во время разбора дела Азефа его задачей было скомпрометировать меня.

Когда Морозов, Новорусский и я стали его уличать в сношениях с охранниками, он рвал и метал против нас и шумно, с дракой отрицал наши обвинения и нападал на нас за клевету.

Глава тридцать седьмая

Возможность ареста Стародворского и возобновления его дела — Я был против этого — В печати требовали, чтобы я назвал имя скрываемого провокатора — Догадки, кто он — Опасность возобновления дела Стародворского миновала. Правда о Стародворском сообщена его судьям и защитникам — Признание Мартова — Сознание Стародворского — Мой ему волчий билет

С марта по май 1917 года аресты и разоблачения провокаторов делались ежедневно по всей России.

Я тоже выступал в газетах с большими статьями о предателях и провокаторах.

...Но я был решительно против возобновления дела Стародворского и все время опасался, чтобы кто-нибудь не начал его дела помимо меня.

Ко мне не раз обращались с вопросом, почему я не поднимаю теперь дела Стародворского, раз открыты архивы департамента полиции. Все понимали, что инициатива возбуждения дела Стародворского должна была принадлежать главным образом мне, и ждали, что я это сделаю.

В мае месяце мне, однако, показалось, что дело Стародворского будет поднято помимо меня, — вот по какому поводу.

В конце марта 1917 г. в Петрограде был арестован по обвинению в провокации какой-то сотрудник петербургских газет. В газетах по его поводу поднялся шум.

В это время у меня была единственная привилегия, полученная после революции, это — беспрепятственное посещение тюрем. Я мог обходить все камеры, где сидели охранники и провокаторы, и много с ними разговаривал. Меня глубоко возмущало издевательство над ними в тюрьмах. Они содержались в таких условиях, в каких и нам редко приходилось сидеть при царском режиме. Грязь, часто голод, скученность в камерах и т. д. Я стал протестовать против такого тюремного режима, настаивал на предании суду тех из провокаторов, кто окажется виновным в общеуголовных делах, и на освобождении остальных.

Был я в камере и у этого литератора-провокатора, о котором только что заговорил. Я увидел, какой это был жалкий, ничтожный человек.

На собрании пяти-шести литераторов, обсуждавших, по предложению прокурора, дело этого провокатора, я настаивал на его освобождении и привел золотую фразу, слышан-

ную мною в английской тюрьме при иных условиях и не про провокаторов: «Эта сволочь недостойна сидеть в тюрьме!» Более сильного довода в защиту этого ничтожного провокатора у меня не было. Тогда же присутствовавшим литераторам я сказал:

— Не люблю тюрем! Чем меньше тюрем, тем лучше! Тюрьмы у нас должны быть только для опасных лиц. Вот, я знаю одного бывшего революционера, который служил в охранном отделении, получал деньги, но он сейчас тяжело болен и ни в каком отношении не может быть опасным. Если узнают его имя, всем будет бесконечно тяжело. Я не хочу опубликовать имени этого бывшего революционера потому, что не хочу, чтобы его арестовали и держали в тюрьме и чтобы около его имени был какой-нибудь шум!

Эти слова были мной сказаны мимоходом и в то время мало, по-видимому, обратили на себя внимание. Я и сам тогда не придавал им особенного значения. Но месяца через два, когда известный Д. Рубинштейн[156] повел против меня кампанию, он купил одного из литераторов, бывшего на этом совещании, и в «Русской Воле»[157] этот литератор совершенно неожиданно для меня напечатал открытое письмо ко мне, написанное в крайне напыщенном тоне. Автор письма заклинал меня перестать укрывать такого провокатора, при опубликовании имени которого «весь мир содрогнется от ужаса».

Это открытое письмо ко мне в «Русской Воле» моментально повсюду вызвало такую невероятную сенсацию, что не было положительно ни одного уголка в России, где бы в страстных спорах не ломали голову, имя какого провокатора я скрываю, и не требовали меня к ответу.

В день опубликования письма я выехал в ставку. Дорогой, в вагоне, где никто не знал меня, мне приходилось слышать разнообразные догадки о том, кого я имею в виду в этом своем обвинении.

В ставке я пробыл сутки. Виделся там с очень многими, и все прежде всего задавали мне тот же самый вопрос. Я приехал в Москву, ко мне пришли интервьюеры от газет, и первый их вопрос был, чье имя я скрываю, от раскрытия которого «ужаснется весь мир». В московских газетах и в толпе говорили, что я имею в виду Чернова, другие же высказывали предположение, что я обвиняю Керенского[158]. Назывались имена, которых я не хочу здесь даже и приводить.

С таким же требованием назвать имя укрываемого мною провокатора обратился ко мне в открытом письме в московских газетах и А. Соболь[159]. Многие другие газеты и отдельные лица требовали от меня того же.

Все были изумлены, когда в первом же интервью в Москве я прежде всего категорически заявил, что никогда не говорил, что при разоблачении этого имени «весь мир содрогнется от ужаса», а говорил я только, что всем будет бесконечно больно, если будет разоблачено это имя, а потом, как раньше, так и тогда, я сказал, что это лицо — больной человек, ни в каком отношений не представляющий опасности, и что поэтому-то я и не считаю нужным отдавать на травлю его имя. При этом я добавил, что все нужные указания относительно него мною давно сообщены таким лицам, как Лопатин, и что я их всех убедил в том, что опубликование имени этого человека в настоящее время не представляет никакого общественного интереса, и только поэтому оно и не было мной до сих пор опубликовано.

Несмотря на все мои заявления в газетах, догадки продолжались делаться за догадками.

Летом 1917 г. ко мне как-то на мою квартиру в Петрограде явился Чернов вместе с несколькими своими товарищами допросить меня о моем отношении к известному тогдашнему обвинению его Милюковым, в связи с его пораженческим движением за границей во время войны. Чернов, между прочим, спросил меня, не его ли я имел в виду в недавнем своем

обвинении литератора, как об этом тогда некоторые прямо утверждали. Конечно, я объяснил Чернову, что, как это видно из моих заявлений, дело идет о больном человеке, не играющем никакой политической роли, а эти признаки к нему совсем не подходят.

Чернов в это время болен не был и играл такую показную роль в русской жизни, что мне хотелось ему сказать: «К сожалению, это к Вам не подходит!» Конечно, о Чернове я тогда ни в коем случае не промолчал бы!

Я прекрасно понимаю, какое волнение во всей печати и в обществе поднял бы я если бы тогда, летом 1917 г. или еще раньше, в марте того же года, сейчас же после допроса Доброскока, вместо того, чтобы с огромными усилиями не допустить возбуждения дела Стародворского, я рассказал бы в газетах все то, что пишу в настоящей статье. Я тогда смог бы получить блестящий реванш за всю борьбу, которую в течение десяти лет, в 1908–1917 гг., вели против меня и сам Стародворский, и его сторонники.

Стародворский несомненно был бы арестован, и вокруг ареста этого шлиссельбуржца тогда большой шум подняли бы как раз те, кто в свое время, до революции, не понимал задач моей разоблачительной борьбы с провокаторами.

...В 1908–1909 гг. я вел ответственную, трудную и даже рискованную для моей жизни борьбу со Стародворским, когда он мог быть так опасен своими связями с департаментом полиции и когда он пользовался общим доверием, уважением и известностью, а потом, в 1917 г. я его же спасал от ненужного шельмования, когда он был болен, бессилен и ни для кого более не опасен.

В своих воспоминаниях Мартов говорит, что в молодости он увлекался народовольческим движением и предметом его культа главным образом были два участника народовольческого процесса 1887 г. — Лопатин и Стародворский.

«Ирония судьбы, говорит Мартов, захотела, чтобы через 21 год меня пригласили арбитром в третейский суд, который должен был в Париже разбирать дело между этим самым Стародворским и Бурцевым, обличавшим его в подаче из Шлиссельбургской крепости покаянного письма с оттенком доноса... Суд признал за недоказанностью обвинения факт предательства не установленным, а к приемам, какими Бурцев старался восполнить недостававший у него документальный материал против Стародворского, отнесся неодобрительно. С облегченным сердцем я писал этот приговор: мне было бы больно собственными руками грязнить образ, с которым в долгие годы сроднились романтические переживания. Увы, через 10 лет сухая грязь архивов, развороченных новой революцией, принесла неопровержимые доказательства того, что мой — тогда уже покойный — «подсудимый» на деле не только совершил то, в чем обвинял его Бурцев, но и превратился уже после Шлиссельбурга в оплаченного агента охранки». (Мартов. «Записки социал-демократа»).

Спустя месяца полтора после газетного шума, о котором я только что говорил, ко мне на квартиру пришел больной, на костылях, Стародворский. Он горячо меня благодарил за то, что я не назвал его имени в печати. Он начал рассказывать о себе. Я его прервал и сказал:

— Скажите, я был прав, когда говорил, что все четыре прошения были писаны Вами?

Он, несколько потупившись, ответил мне:

— Ну, да, конечно, Вы были правы!

— Больше мне ничего не нужно! Я думаю, что Вам трудно рассказывать о том, о чем Вы начали говорить. Я только прошу Вас подробнее записать все Ваше дело для истории и сохранить эту рукопись. У меня к Вам по этому делу нет больше никаких просьб и вопросов.

Я понимаю, что для истории, быть может, разоблачения Стародворского имели бы значение, если бы я тогда заставил его ответить на некоторые вопросы.

Стародворский понял, что мне тяжело его выслушивать. Он еще раз меня поблагодарил и затем сказал:

— У меня есть дети, есть жена. Она ничего не знает. Я сталкиваюсь с очень многими, как мне объяснить им мое дело, когда они узнают обо всем?

Тогда я ему дал записочку такого рода (копии я себе не оставил и цитирую по памяти): «Во время моих расследований и расспросов лиц, служивших в департаменте полиции, и по документам, мне пришлось установить, что Стародворский за период 1906–1912 гг. встречался с ними и пользовался их услугами, но у меня нет никаких указаний, чтобы он когда-нибудь указывал им на какие-нибудь имена действующих революционеров».

Стародворский, молча, в большом волнении, взял у меня эту бумагу и стал молча же прощаться. Он только крепко пожал мне руку и сказал:

— Спасибо за все!

Больше Стародворского я не видел. Знаю, что в печати об его связях с департаментом полиции никогда не было ничего сказано.

...Я не имею сведений о том, исполнил ли Стародворский мою просьбу: рассказал ли для истории печальные страницы своей жизни и позаботился ли о том, чтобы этот рассказ был сохранен, как я его о том просил. Знаю только, что мою записку, данную ему во время последнего нашего свидания, он кое-кому показывал, и она у кого-то и теперь должна сохраняться.

К сожалению, я должен здесь сказать, что сообщения Стародворского департаменту полиции не могли обойтись, и не обошлись без того, чтобы в них не упоминались какие-нибудь имена, даже кроме моего. В связи с судом надо мной Стародворский обо мне, конечно, не мог не давать подробных сведений в департамент полиции. Но в различное время он давал сведения и о других лицах, например, о Фигнер. Это

все я знал и тогда, когда дал ему этот волчий билет, но я его дал Стародворскому для того, чтобы несколько облегчить его тогдашнее тяжелое положение.

Для революционного движения сношения Стародворского с миром департамента полиции, быть может, фактически и не имели никаких особенно тяжелых последствий, потому что он был мной скомпрометирован в самом начале, когда только что вошел в среду народных социалистов и еще не играл никакой серьезной роли в общественном и революционном движениях, а позднее, как скомпрометированный человек, он ни для кого более не был опасен.

Товарищ директора департамента полиции Виссарионов, Доброскок и другие лица говорили мне, что со времени суда над Стародворским его сведения были для них мало полезны и связью с ним они скорее тяготились. Они неохотно даже принимали его услуги, когда он с различными предложениями, по большей части литературного характера, сам приходил к ним в департамент полиции или на их тайные конспиративные квартиры. Со временем систематические связи Стародворского с департаментом полиции (по-видимому, после 1912 года) даже и совсем прекратились — именно за их бесполезностью для охранников.

В рассказах об освободительном движении имя Стародворского не будет забыто. Там будет рассказана не только его ужасная трагедия, которую он пережил благодаря своим ошибкам и более чем ошибкам, но будет рассказано и о его участии в убийстве Судейкина и кое о чем другом.

Примечания

[1] «Свободная Россия» — издавалась в 1889 году в Женеве. Ставила своей задачей децентрализацию государственной власти, причем земства должны стать основой этого строя.

[2] Серебряков Э. А. (1854–1921) — бывший морской офицер, участник военной организации Народной Воли с 1880 г. Был выдан полиции Дегаевым. Автор книги «Очерки по истории «Земли и Воли». Впоследствии правый эсэр.

[3] Ландезен-Геккельман-Гартинг А. М. — провокатор-охранник. Заподозренный в провокаторстве в связи с арестом Дерптской типографии, уехал в 1885 году за границу. Здесь работал у заведующего заграничной агентурой П. И. Рачковского с 1900–1903 г. Стоял во главе берлинской агентуры как Гартинг, сам заведовал заграничной агентурой. В 1909 г. после разоблачения был уволен в отставку с пенсией и с производством в действительные статские советники.

[4] Бах А. Н. — род. в 1857 г. Народоволец, ученый-химик. В революционное движение вошел в 1878 г. После 1 марта 1881 г. явился одним из собирателей Народной Воли вместе с Лопатиным. После ареста последнего и провалов эмигрировал в марте 1885 г., занявшись научной работой. Примкнул к эсэрам в 1905 году. В Россию вернулся в 1917 г. и при переходе эсэров на путь вооруженной борьбы с советской властью отошел от партии. Живет в Москве, заведует химическим институтом, обслуживающим промышленность. Принимает самое активное участие в капитальном строительстве нашего хозяйства. Написал наиболее популярную в свое время книгу по экономике — «Царь-Голод», много содействовавшую массовой агитации.

[5] Лавров П. Л. (1823–1900) — крупный теоретик революционного народничества. Был членом Земли и Воли. В 1866 году в ссылке написал «Исторические письма», имевшие большое влияние на молодежь. В этой книге он доказывал, что прогресс в истории возникает благодаря «критически мыслящим личностям», они двигатели исторических событий. Участник Парижской Коммуны. Редактировал за границей журнал «Вперед» в 1871 г., в котором пропагандировал необходимость «идти в народ», дабы упорной

работой перевоспитать народ в духе социализма. Его агитация была резко противоположна бакунистам — бунтарям, считавшим, что народ готов к немедленному восстанию. Участвовал одно время в редактировании заграничного издания «Народной Воли».

[6] Ошанина-Полонская, Марина Никаноровна, Оловенникова Мария Николаевна (1853–1898) — участвовала в молодости в кружке якобинца Зайчневского П. Г. В 1878 году примкнула к Земле и Воле, пыталась организовать поселение из революционеров среди крестьян Воронежской губернии для пропагандистской работы. Впоследствии член Исполнительного Комитета Народной Воли. С 1882 г. эмигрировала за границу, где продолжала работу, но по взглядам была ближе к якобинцам, примыкая к кружку «старых народовольцев».

[7] Тихомиров Л. А. (1852–1923) — в студенческие годы 1871–1873 г. активный член кружка чайковцев, пропагандировал среди рабочих. После ареста чайковцев он был привлечен вместе с другими к делу 193-х, но отделался легким наказанием. С конца 1878 г. он принимает активнейшее участие в создании новой революционной организации — партии Земля и Воля и вместе с Кравчинским, Клеменцом, Плехановым и Н. Морозовым он входит в редакцию ее органа — «Земля и Воля». В качестве ярого сторонника политической борьбы и террористических методов Тихомиров участвует на Липецком съезде в 1879 г. и играет роль одного из застрельщиков в расколе Земли и Воли. Член Исполнительного Комитета Народной Воли со дня его основания, Тихомиров играет руководящую роль в этой организации. Не принимая непосредственного участия в террористической борьбе, он уцелевает при разгроме Народной Воли, последовавшем вслед за удачным покушением на Александра II (1 марта 1881 г.) Вместе с В. Фигнер, Н. Морозовым, М. Ошаниной и др. он делает попытки восстановить организацию и продолжает редактировать ее орган «Народная Воля». Эмигрировав и 1883 году за границу, он создает там при участии П. Лаврова «Вестник Народной Воли». Разочаровавшись в террористических методах борьбы, он под влиянием глубокого кризиса и разложения народовольчества уходит от революции и из вождя Исполнительного Комитета Народной Воли он вскоре превращается в ярого защитника

самодержавия. После опубликования им в 1888 г. брошюры «Почему я перестал быть революционером» и подачи им верноподданнического прошения Александру III, он возвращается в Россию и становится сначала сотрудником, а затем редактором реакционных «Московских Ведомостей». На страницах этой газеты он усиленно защищал самодержавие и православие, и за свое ренегатское усердие награжден был царем золотой чернильницей.

В 1927 г. изданы «Воспоминания» Тихомирова, которые обрисовывают и самого Тихомирова и дают ряд интересных характеристик деятелей его эпохи.

[8] Дебагорий-Мокриевич В. К. (1848–1927) — участвовал в студенческих кружках саморазвития. Увлекался бакунизмом. В 1873 г. перешел на нелегальное положение. Арестован в 1879 г. Жил в рабочих артелях. В 1874 г. «ходил» вместе с другими из киевской коммуны «в народ». В 1875 г. организовал кружок, задачей которого была организация вооруженного крестьянского восстания. В программу был внесен пункт о пуске «в дело манифестов, якобы изданных царем, призывающих крестьян к восстанию против помещиков». В 1876 г. он был в числе расселившихся по селам для подготовки заговора-мятежа. Участвовал впоследствии в организации побега революционера Я. Стефановича из тюрьмы. Арестован был 11 февраля 1879 г. и осужден на 14 лет каторжных работ. По дороге на этап сменился паспортом с уголовным и бежал из-под Иркутска. В 1881 г. вернулся в Москву, откуда бежал в Швейцарию. В дальнейшей работе стоял на точке зрения либералов. Признавал завоевание политического строя, при котором должна быть децентрализация и земства — основа этого строя. В последние десятилетия в политической жизни роли не играл. Умер в эмиграции в Болгарии. В свое время написал ценные воспоминания из эпохи «хождения в народ».

[9] Якубович П. Ф. (1860–1911) — в 1883–84 гг. стоял во главе народовольческой работы Петербурга. Был инициатором Молодой Народной Воли. В ноябре 1884 г. арестован и приговорен к смертной казни, замененной 15-летней каторгой. Каторгу отбывал на Каре и в Акатуе. В 1895 г. был на поселении, а в 1899 г. вернулся в Петербург. Известный поэт и литератор.

[10] Дегаев С. П. — артиллерийский офицер по образованию. Штабс-капитан в отставке. Участник революционного движения с 70-х гг. Связывал петербургский центр студенчества с Народной Волей. После ареста в Одессе в 1882 г. по делу о нелегальной типографии охранка устроила ему фиктивный побег из тюрьмы. Войдя, как союзник главы петербургской охранки Судейкина, вновь в ряды революционеров, Дегаев выдавал даже своих близких друзей. Сосредоточив в своих руках значительные связи, он разрушал все планы народовольцев. После года работы в департаменте полиции признался Исполнительному Комитету Народной Воли и по его поручению вместе с В. Коношевичем и Н. П. Стародворским убил в своей квартире Судейкина в декабре 1883 г. После убийства эмигрировал в Лондон, сойдя с революционного горизонта.

[11] Драгоманов М. П. (1841–1895) — профессор-историк. После увольнения из Киевского университета эмигрировал. Руководил умеренным крылом украинского национального движения и занимался публицистикой. Драгоманов — типичный буржуазный либерал, искавший опоры у земцев и боровшийся как с народовольчеством, так и с социал-демократией. Резко выступал против социализма и теории классовой борьбы.

[12] Сабунаев М. В. («Лысый») — народоволец, студент. Осужден был на поселение в Сибирь, откуда бежал и занимался пропагандой по волжским городам. Участник по подготовке съезда на Волге старых революционных работников по объединению кружков.

[13] «Народная Воля» — партийный журнал, издававшийся (с 1879 по 1885 гг.) в России с большими трудностями, вышло 12 номеров. За границей издавался с 1883 г. Вестник «Народной Воли». Вышло всего 5 выпусков до 1886 г. Редактировали журнал Тихомиров и Лавров. Оба журнала отображали взгляды партии Народной Воли.

Сама партия Народная Воля выделилась в 1879 г. (Липецкий съезд) из организации Земля и Воля, когда последняя раскололась на Черный Передел и Народную Волю. Народная Воля была наиболее революционной организацией левой части русской интеллигенции и ставила своею целью низвержение самодержавия путем восстания и заговора. Невозможность восстания и отсутствие

веры, что сам народ подымется, толкнула народовольцев на террористическую борьбу. В этой схватке небольшая группа давала только внешний эффект борьбы. Наиболее блестящим актом народовольческого террора было убийство Александра II — 1 марта 1881 г. Во главе централизованной партии стоял законспирированный Исполнительный Комитет, руководивший террористической работой и пропагандой. Теоретически партия отображала общую нечеткость классовых отношений. Они не отказывались от народнического (мелкобуржуазного) социализма, от борьбы за политическую свободу, но часто и многие говорили об этом не лучше либералов. Народная Воля отказалась на деле от политического анархизма предшествовавших ей революционных организаций, но, не умея решить вопроса о сочетании социализма и политической борьбы, фактически отодвинула на задний план социалистические задачи. Будучи связана со студенчеством и одиночками рабочих, партия не имела никаких корней в массах. Рабочие кружки организовывались и жили помимо Народной Воли, они только использовали народовольцев, как агитаторов, толкая на изучение положения рабочих Запада и России, а также на углубление пропаганды путем знакомства с научным социализмом. После 1 марта, когда убийство Александра II не вызвало никаких потрясений в народе, правительство увидело, что за партией идут одиночки, которых оно жестоко преследовало. Отдельные попытки восстановить Народную Волю, как и попытка организовать Молодую Народную Волю, устремлявшую почти все свое внимание на рабочих, не увенчались успехом. Неравная борьба Исполнительного Комитета с самодержавием закончилась полным разгромом Народной Воли, которая после 1885 г. не возобновлялась.

В 1886 г. возникла новая народовольческая группа (Ульянов — брат Ленина — и другие), которая стремилась поднять старое знамя Народной Воли; эта группа, хотя и переняла террористические традиции Народной Воли, но приближалась по своим взглядам к социал-демократии. Но неудачная попытка покушения на Александра III дала в руки правительства нити организации, и оно казнило всех активных членов. Тактика народовольцев — тактика

террора, возбуждения революционного движения — ничего, кроме геройства одиночек и разгрома революционного движения, не дала, она была осуждена как рабочим классом, так и ходом исторических событий.

[14] Лопатин Г. А. (1845–1918) — крупный революционер. В 1866 году в связи с делом Каракозова, стрелявшего в Александра II, был арестован, а освобожден через несколько месяцев из тюрьмы, за отсутствием улик, ибо, как заявляли жандармы, «такого шутника и весельчака никакая революция не собьет с пути беспечального прожигания жизни». В 1867 г. уезжает за границу, где вступает в ряды волонтеров Гарибальди (Италия). Вернувшись в 1868 г. в Россию снова арестовывается по делу «Рублевского общества», имевшего целью распространение грамотности в народе. Его высылают в Ставрополь под надзор родителей. Здесь он работает чиновником и задумывает побег в Америку. Побег был раскрыт, и он опять подвергается аресту. Бежит. Освободил из ссылки знаменитого народнического теоретика Лаврова. Уезжает с ним за границу. В конце 1870 г. возвращается в Россию. Пытался освободить из ссылки другого теоретика народничества — Чернышевского. Арестован. В 1873 г. бежал за границу. В 1879 г. вернулся в Россию. Арестован и сослан сначала в Ташкент, потом в Вологду. В 1883 г. бежал за границу. Сблизился с народовольцами. В том же году вернулся в Петербург энергично восстанавливать рассыпавшиеся организации и вдохнуть новую жизнь в заглохшую деятельность Народной Воли. Лопатин предпринял ряд поездок вглубь страны, сколачивал актив партии, но был арестован в 1884 г. При нем найдены имена всех лиц, привлеченных им к работе. Полиция этим воспользовалась и разгромила остатки народовольческих сил, прихватив заодно и членов других организаций. Лопатин был выдающимся человеком своего времени. Он был знаком с Марксом и Энгельсом. Он один из переводчиков первого тома «Капитала» Маркса, вышедшего в России в 1872 г. Арестованного в октябре 1884 г. в Петербурге Лопатина судили в 1887 г. и приговорили к смертной казни, которая была заменена бессрочной каторгой. Отсидел он 38 лет заключения в Шлиссельбургском «каменном гробу» среди «заживо погребенных»

русских революционеров. После 1905 года занимался литературной работой.

[15] Салова Н. М. родилась в 1860 г. К народовольцам примкнула в 1880 г. Работала среди учащихся Петербурга. После этого перебывала в Харькове, Одессе. В 1882 г. была за границей по поручению Исполнительного Комитета (Париж). Здесь вошла в состав распорядительной комиссии Народной Воли. Возвращается в 1883 г. на работу в Киев и Петербург. Арестована в 1884 г. при провале Лопатина. В крепости просидела 1½ года. В 1887 г. ее осудили на смертную казнь, замененную 20-летней каторгой, и отправили в Сибирь в Усть-Кару. В 1892 г. с упразднением уголовной каторги на Каре ее выпустили в вольную команду. В 1898 г. ушла на поселение в Читу. В 1906 г. в Чите активно работала, став эсэркой. Сейчас живет в Чите.

[16] Сухомлин В. И. — родился в 1860 г. Работал в Одесской группе народовольцев с 1882 г. Принимал в 1883 г. участие в заграничном съезде народовольцев, обсуждавшем вопросы оживления деятельности и реорганизации партии. Был избран в распорядительную комиссию, которая должна была стать ядром восстанавливаемой партии. В 1877 г. судился и приговорен к смертной казни, замененной 15 г. каторги, которую отбывал на Каре. Впоследствии эсэр. Ныне живет в эмиграции.

[17] Судейкин Г. П. — начальник особого отдела департамента полиции в 80-х гг. (инспектор секретной полиции). Был в тесной связи с членом Исполнительного Комитета Народной Воли — провокатором С. Дегаевым. Вместе с ним он сумел разгромить последние силы Народной Воли. Убит на квартире Дегаева 16 декабря 1883 г. народовольцами Стародворским и Коношевичем.

[18] Мануйлов А. А. род. в 1861 г. Ученый — профессор политэкономии. Был ректором Московского университета, одним из редакторов «Русских Ведомостей». В 1910 г. по приказу министра народного просвещения Кассо вышел в отставку за неэнергичную борьбу со студенческими волнениями. Был министром просвещения при Временном Правительстве. Подготовил реформу русского правописания. Был членом ЦК кадетской партии. В 1924 г. назначен членом правления Государственного Банка.

[19] Молодая Народная Воля — организация (в Петербурге, Москве в 1883–1884 г.) оппозиционная по отношению к заграничному центру Народной Воли и ее представителям в России. Защищала децентрализацию и автономию в организационном строе партии. Считала необходимым ввести в программу и в практику аграрный и фабричный террор. Участники «Молодой Народной Воли» были близки к агитации среди рабочих. После приезда Лопатина в 1883 г. и долгих споров с молодежью в лице Якубовича П. Ф. , Флерова Н. М. , молодежь сдалась, традиции взяли верх, и единство организации было восстановлено.

[20] Орлов М. П. — народоволец. Был сослан в 1884 году в Западную Сибирь на 3 года, а по якутскому делу приговорен к каторжным работам.

[21] Дембо И. В. (Бринштейн) привлекался по делу 1 марта 1887 г. о цареубийстве. Убит в лесу в Цюрихе случайно выпавшей из его рук бомбой после произведенных опытов.

[22] Раппопорт Ю. — революционер. В 1888 г. привез из-за границы проект союза русских социально-революционных групп. По проекту реформы должны быть осуществлены рабочей социалистической партией, к которой присоединяются крестьяне. Но эти социалисты-народники рассчитывали в борьбе на интеллигенцию, немного на рабочих и на очень слабую поддержку крестьян. 12 апреля 1889 г. Раппопорт был арестован на границе при переезде в Россию для переговоров об активизировании террористической работы.

[23] Рейнштейн Борис род в 1866 г. Народоволец с 1884 г. Работал в Ростове. В эмиграции с 1886 г., здесь стоял на точке зрения сочетания социал-демократической пропаганды с террором. Перевел на русский язык ряд произведений Маркса и транспортировал нелегальную литературу в Россию. Принимал участие в подготовке покушения на Александра III. В марте 1889 г. после взрыва при опытах с метанием бомб (около Цюриха) перешел на типографскую работу. В 1890 г. был осужден парижским судом на 3 года каторги по подозрению в террористической работе. После освобождения уехал в Америку, где 25 лет был связан с социалистической рабочей

партией. В 1917 г. вернулся в Россию, а в 1918 г. вступил в РКП. Все время на общественной работе, которую ныне продолжает в Коминтерне.

[24] Теплов А. Л. — народоволец. В 1878 г. его дело слушалось в суде сената; был сослан на поселение в Восточную Сибирь. Эмигрировал в Париж, где входил в кружок террористов; готовившихся начать деятельность в России. Был ранен во время опыта с метанием снарядов.

[25] Накашидзе — князь Мильтон — анархист.

[26] Кашинцев А. Н. , он же Андрей Сергеевич — народоволец. В 1882 г. бежал из-под надзора полиции Харькова за границу. Здесь в январе 1884 г. принял участие на съезде в Париже по вопросу о реорганизации партии и поднятии ее деятельности. Вернулся нелегально в Одессу, где был арестован и сослан на 5 лет в Сибирь.

[27] Рачковский П. И. (1853–1910) — охранник. Заведовал заграничной агентурой царской полиции (с 1885 по 1902 г.) Следил за революционерами и эмигрантами и всячески добивался выдачи их русскому правительству. В 1905 г. начальник личной охраны Александра III и вице-директор департамента полиции. В 1906 г. вышел в отставку и более не возвращался к политической деятельности.

[28] Доброджану-Гереа (Кац, Марк Никитич) — входил в состав Харьковского революционного кружка. В 1877 г. обманом был увезен из Румынии русским правительством, в 1879 г. бежал из места ссылки (Мезени) морем, через Норвегию. Поселился в Румынии (в городе Плоешти) под именем Костик Доброджану (или Гереа Доброджану), стал известным румынским социалистом и литератором, добывая средства к жизни. Удержанием буфета на железнодорожной станции (Лив. Прол. Рев. № 1 за 1927 г.).

[29] Азеф Е. Ф. (1870–1918) — крупнейший провокатор. Сын портного, инженер-электрик, окончил в Карлсруэ, где еще студентом связался в 1893 г. с департаментом полиции. В 1899 г. вступил в заграничный союз эсэров. В 1901 г. вместе с Гершуни объединял партию и занимал руководящее место. Кроме организованных им покушений, перечисленных в тексте, им выданы охранному отделению: 1) в 1901 г. съезд представителей союзов социал-

революционеров в Харькове, 2) типография Северного Союза в Томске, 3) в 1903 г. члены Северного Союза и Северный Летучий боевой отряд, 4) в 1905 г. боевой комитет по подготовке восстания в Петербурге, 5) план восстания передается в руки полиции, 6) предотвращает в 1906 г. убийство министра внутренних дел Дурново, 7) предотвращает в 1907 г. убийство царя, 8) В 1908 г. выдает Боевую Организацию и боевой отряд, казнено 7 человек.

После суда эсэров Азеф 24 декабря 1908 г. скрылся. Перед своим разоблачением Азеф разместил в заграничные банки несколько сот тысяч франков. После разоблачения он путешествовал по Германии, Испании, Южной Италии, Греции и Египту. В 1910 г. Азеф поселяется в Берлине и живет под фамилией Querlieйmaйера по паспорту, выданному русской полицией. Играл на бирже, а впоследствии скрылся в германской провинции. С войны 1914 г. он открыл модную мастерскую. В 1915 г. германская полиция, узнав его настоящую фамилию, арестовывает и держит его в тюрьме до конца 1917 г. В архиве Германии имеется заявление Азефа германской полиции, в котором он доказывает, что он с 1910 года не имел сношений с русскими властями. Азеф думал, что его арестовали как агента русского правительства. Но, когда оказалось, что полиция арестовала его как «террориста и анархиста», Азеф пишет в берлинскую полицию пространное донесение, в котором доказывает, что он был агентом русской полиции, а не террористом, что он не организовывал покушений, а предупреждал их и, во всяком случае, не является анархистом, ибо партия эсэров входит во II Интернационал, куда не допускаются анархисты. За Азефа хлопотало перед берлинской полицией также испанское посольство, защищавшее во время войны интересы русских граждан в Германии. На ходатайство Азефа о переводе его из одиночной тюрьмы в лагерь для гражданских пленных берлинская полиция ответила согласием, но под непременным условием открытия там его настоящей фамилии... Азеф отказался от этой перспективы. Последние годы Азеф проводит в тюремной больнице, откуда был освобожден после подписания Брест-Литовского мира в 1918 г. Умер Азеф 24 апреля 1918 г. от болезни почек в Берлине («Каторга и Ссылка», № 17).

[30] Переляев В. — студент Дерптского университета. Чернопеределец — впоследствии народоволец. Ведал типографией и напечатал 10-й номер «Народной Воли». Умер в 1885 г.

[31] Мильеран Александр род в 1859 г. Французский политический деятель, проделавший путь от социализма к защите буржуазии. С 1899 до 1902 г. входил в буржуазное министерство. В 1904 г. исключен из партии. В 1920–1924 г. президент французской республики. Реакционер и руководитель французских фашистов.

[32] Александр III (1845–1894) — русский император. Вступил на престол в 1881 г. после убийства народовольцами Александра II. Он был умственно ограниченным человеком и резко высказывался против представительного собрания выборного начала в России. Реакция при Александре III достигла наибольших размеров. Вместо ожидаемой обществом конституции он издал манифест, в котором говорилось: «в силу истины самодержавной власти, которую мы (Александр III) призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». Наибольшим влиянием на Александра пользовался его воспитатель — мракобес Победоносцев.

[33] Кашинцев-Ананьев И. Н. — народоволец-эмигрант. Участвовал в работе Южно-Русского Рабочего Союза. В 1881 г. приговорен по делу Союза к 10 годам каторги. Из Сибири в 1888 г. бежал в Париж. Здесь входил в кружок, изготовлявший взрывчатые вещества и снаряды. Кружок готовился вернуться в Россию для работы. Работы производились на квартире у Кашинцева. Кружок был выдан Гартингом. Кашинцев был арестован в 1890 г. французскими властями. Три года сидел в тюрьме, а затем выслан из Франции.

[34] Нигилисты — слово «нигилизм» было введено в обиход нашего языка И. С. Тургеневым, который окрестил этим именем особое идеологическое течение, наметившееся среди русской интеллигенции в конце 50-х и начале 60-х гг. Слово «нигилизм» получило право гражданства сперва как бранная кличка, а потом как гордо принятый ярлык той философской школы, которая одно время занимала самое видное место в русской интеллектуальной жизни. Настоящий нигилизм, каким его знали в России, был борьбой за освобождение мысли от уз всякого рода традиций, шедшей рука об руку с борьбой за освобождение трудящихся классов от экономиче-

ского рабства. В основе этого движения лежал безусловный индивидуализм. Это было отрицание во имя личной свободы, всяких стеснений, налагаемых на человека обществом, семьей, религией. Нигилизм был страстной и здоровой реакцией против деспотизма не политического, а нравственного, угнетающего личность в ее частной, интимной жизни... Первая битва была дана на почве религии... Но нигилизм объявил войну не только религии, но и всему, что не было основано на чистом и положительном разуме, и это стремление, как нельзя более основательное само по себе, доводилось до абсурда нигилистами 60-х годов. Так, они совершенно отрицали искусство, как одно из проявлений идеализма. Здесь отрицатели дошли до геркулесовых столбов, провозгласив устами одного из своих пророков знаменитое положение, что сапожник выше Рафаэля, так как он делает полезные вещи, тогда как картины Рафаэля решительно ни к чему не годны. В глазах правоверного нигилиста сама природа являлась лишь поставщицей материала для химии и технологии... В одном важном пункте нигилизм оказал большую услугу России — это в решении женского вопроса: «он, разумеется, признал полную равноправность женщины с мужчиной». (Степняк-Кравчинский). В дальнейшем нигилизм, как общественное течение, переходит в революционное народничество. Начинается эпоха «хождения в народ». Нигилисты — главным образом разночинцы — представители городской и сельской мелкой буржуазии, примитивные материалисты.

[35] Кропоткин П. А. (1842–1921) — происходя из княжеской фамилии, он по окончании пажеского корпуса ушел на военную службу в Сибирь и на Дальний Восток, где и пробыл пять лет. Здесь он усиленно занимался научной работой. Будучи радикально настроен, он после восстания ссыльных поляков на Кругобайкальской дороге, опасаясь, что его пошлют на усмирение повстанцев подает в отставку и возвращается в Петербург. Был секретарем географического общества, исследовал значение ледникового периода для Европы. В 1871 г. он едет за границу, где знакомится с западноевропейским рабочим движением и попадает в сферу влияния Михаила Бакунина, отколовшегося от I Интернационала и основавшего свой «Альянс». По возвращении в 1872 г. в Россию, он вско-

ре вступает в кружок чайковцев, занимаясь преимущественно пропагандой среди рабочих, читая им лекции по истории Интернационала и рабочего движения в Западной Европе. В 1874 г. П. А. был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Будучи переведен в 1876 г. в госпиталь, П. А. бежал при содействии С. М. Кравчинского за границу, откуда вернулся уже маститым теоретиком анархизма и известным ученым в 1917 г. Умер в 1920 г. Воспоминания П. А. Кропоткина, «Записки революционера» — дают прекрасное представление о жизни этого выдающегося человека в 70-х годах и очень живо рисуют быт революционеров 70-х годов.

[36] Эвакуация Крыма — была в 1921 г., после неудачной вылазки генерала Врангеля и упорных боев на южном фронте во время борьбы с поляками.

[37] Волховский Ф. В. (1846–1914). — Будучи студентом Московского университета, в 1867–68 гг. организует вместе с Г. Лопатиным. «Общество по закупке и распространению дешевых книг среди народа» (так называемое «Рублевское общество»). За это его арестовывают, держат, не предъявляя обвинения, семь месяцев. В 1869 г. его в качестве служащего московского книжного магазина Черкасова снова арестовывают и привлекают по нечаевскому делу. Просидев более двух лет в московских тюрьмах, а затем в Петропавловской крепости, его освобождают, как оправданного по суду. Присоединился к кружку чайковцев и в 1872 году едет в Одессу, где организует отделение кружка чайковцев. Будучи привлечен по делу 193-х (о пропаганде), отделался ссылкой на поселение в Тобольскую губернию. В 1881 г. получил разрешение поселиться в Томске, откуда в 1889 г. бежал за границу, поселясь в Лондоне. Здесь участвовал в создании издательства «Фонда Вольной Русской Прессы». После образования партии социалистов-революционеров в 1902 г. вступил в ее ряды, что отнюдь не мешало ему, подобно Кравчинскому и др., проявлять определенно либеральный уклон.

[38] Кравчинский С. М. (Степняк) (1850–1895) — литератор. Автор пропагандистских сказок и революционных романов. Выдающийся участник революционного движения 70-х гг. Прослужив около года

офицером в провинции, вышел в отставку, поступил в Лесной институт. Одновременно примкнул к кружку чайковцев (в 1872 г.), ведя пропаганду среди рабочих, а в 1873 г. — пионер «хождения в народ». В 1874 г. Кравчинский бежал за границу и там участвовал в герцеговинском восстании против турок (в 1875 г.) и в попытке группы анархистов поднять восстание бедноты в провинции Бенвенто в Италии (в 1877 г.) В период между этими восстаниями Кравчинский приезжал в Россию, принимал деятельное участие в ряде дерзких побегов заключенных революционеров из тюрем. В 1878 г. Кравчинский участвует в создании нового подпольного издания «Земля и Воля» — органа возникшей организации того же имени. В сентябре 1878 г. Кравчинский по поручению организации ударом кинжала убивает среди бела дня на улице шефа корпуса жандармов Мезенцева. После того Кравчинский снова уезжает за границу и более не возвращается в Россию. В 1895 г. трагически умер в Лондоне, случайно попав под поезд.

[39] Луцкий Вл. — эмигрант. Инженер. Служил в Южной Болгарии, в городе Пасарджике. Сочувствовал народовольцам.

[40] Кузнецов А. А. род в 1875 г. Член 2-й Государственной Думы. После окончания средней школы в Нижнем Новгороде учился за границей в Цюрихе. Впервые арестован в 1895 г. за пропаганду идей социал-демократии.

[41] Чайковский Н. В. (1850–1926) — выдающийся деятель 70-х годов. По его имени назван первый кружок, ведший массовую пропаганду среди рабочих и отчасти среди крестьянства. В 1874 г. эмигрировал в Америку, примкнув к проповеднику секты «богочеловечества» — А. К. Маликову. В 1879 г. переехал во Францию, а затем в Англию, активно участвуя в «Фонде Вольной Русской Прессы» и Народовольческом Красном Кресте. В 1907 г. вернулся в Россию, где арестовывается. Судился в 1910 г. и оправдан. В 1917 г. работал среди народных социалистов, а после Октября перешел в лагерь контрреволюционеров и возглавлял в августе 1918 г. архангельское белогвардейское правительство.

[42] Лазарев Е. Е. — эсэр. Эмигрант. Организовал в Америке «Общество американских друзей свободы в России» и выпускал журнал

«Свободная Россия». В 1894 г. вошел в комитет «Фонда Вольной Русской Прессы». В 1894 г. в Париже предложил возродить народовольческую организацию с Исполнительным Комитетом и возобновлением террора. В 1894 г. выслан из Парижа. В 1915 г. был одним из редакторов газеты «Новости», призывавшей к волонтерству в империалистические армии.

[43] Николай II (1868-1918) — бывший последний император России. Вступил на престол в 1894 г., свергнут с престола февральской революцией 1917 г. Казнен после Октябрьской революции на Урале в 1918 г.

[44] Дрейфус Альфред — капитан французской артиллерии. Был обвинен военным судом в шпионстве и в 1895 г. по разжаловании сослан в Кайену. Обвинение в государственной измене было ему предъявлено, несмотря на отсутствие улик. Правительство не желало раскрыть продажность некоторых высших военных французских чиновников. В 1906 г. дело Дрейфуса было пересмотрено, и его реабилитировали, возвратив офицерское звание.

[45] «Вестник Русской Революции» — журнал по вопросам политики и теории («социально-политическое обозрение»). Выходил с 1901 г. в Париже как орган «Группы старых народовольцев» под редакцией К. Тарасова (Н. С. Русанова). В 1902 г. он стал официальным теоретическим органом партии эсэров. Закрылся в 1905 г. Всего вышло 4 номера.

[46] «Революционная Россия» — официальный орган партии эсэров.

[47] Эсэры — партия социалистов-революционеров возникла в конце 1901 г. в результате объединения следующих революционно-народнических групп: действовавшей на западе России «Рабочей партии политического освобождения России», работавшего на востоке и севере «Союза социалистов-революционеров», Южной партии социалистов-революционеров», заграничной «Группы старых народовольцев» и заграничной «Аграрно-Социалистической Лиги».

...В отличие от социал-демократии, признававшей только пролетариат последовательно революционным классом, способным до конца бороться за социализм, социалисты-революционеры отказывались видеть классовые различия между пролетариатом и мелким

собственником и, затушевывая классовые противоречия внутри крестьянства, рассматривали пролетариат, крестьянство и интеллигенцию, как такие общественные силы, на которые в равной мере может опираться революционная партия, стремящаяся осуществить социалистические идеалы. Поэтому марксистское понятие классовой борьбы социалисты-революционеры подменяли борьбой «всех» трудящихся и эксплуатируемых. Являясь по своему классовому содержанию партией революционной интеллигенции и мелкобуржуазного крестьянства, социалисты революционеры представляли собой левое крыло буржуазной демократии.

Теоретические воззрения партии социалистов-революционеров, соединявшей народничество с ревизинистски «переработанным» марксизмом, носили явный отпечаток эклектизма. Являясь в области теории крайне правыми ревизионистами и реформистами, эсэры заимствовали свои теоретические воззрения, главным образом в вопросах аграрном и кооперативном, у таких признанных ревизионистов, как Э. Бернштейн, Ф. Герц, Э. Давид, Э. Вандервельде. «Критическое» отношение к марксизму социалисты-революционеры в особенности проявляли в аграрном вопросе: по их мнению, общие закономерности капиталистического развития не распространяются на сельское хозяйство. Не имея ясного представления о классовом содержании буржуазно-демократической революции и ее отличии от революции социалистической, социал-революционеры открывали в крестьянских волнениях 1902 г. и в крестьянском движении 1905 г. «полусоциалистические» тенденции. В качестве лозунгов для крестьянского движения социалисты-революционеры выдвигали «социализацию земли» и принцип «уравнительности», считая их мерами социалистического характера. В кооперации они видели путь к эволюционному социалистическому преобразованию капиталистического общества, не понимая, что при господстве капиталистических отношений различные формы кооперации являются лишь орудием капиталистического развития. Признавая в принципе значение массовых движений, но в то же время по-интеллигентски противопоставляя «героев» толпе», социалисты-революционеры видели один из ос-

новных методов борьбы в терроре, который и применяли широко в период первой революции; тем самым активность масс ослаблялась, создание массовых организаций отодвигалось на задний план, центр тяжести от революционной активности масс передвигался к узким организациям. Для проведения террора была создана самостоятельная Боевая Организация, во главе которой стоял сначала Г. Гершуни, затем Е. Азеф (известный провокатор). Пропаганда социалистов-революционеров до революции 1905 г. пользовалась успехом среди интеллигенции, студенчества, отчасти среди крестьян, значительно меньше среди рабочих. В период революции социалисты-революционеры приобрели заметное влияние среди некоторых слоев пролетариата, еще сохранявших экономические связи с крестьянским хозяйством, и поэтому представляли для социал-демократии серьезного противника». (Прим. Ленина, т. V, изд. 1927 г.)

[48] «Свобода» — журнал для рабочих. Издавался «революционно-социалистической группой», существовавшей с 1901 по 1903 год. Группа признавала роль рабочего класса в борьбе за политическую свободу и наряду с этим террор, который должен форсировать революционное движение пролетариата.

[49] «Накануне» — журнал («Социально-революционное обозрение») — издавался в Лондоне с 1899 г. по 1902 гг. под редакцией эсэра Серебрякова Е. А. Журнал был связан с «Фондом Вольной Русской Прессы». Журнал проповедовал демократические взгляды. Вышло 37 номеров.

[50] Чернов-Оленин В. М. род в 1876 г. Эсэр. Политическую деятельность начал со студенческой скамьи, как член партии Народного права. Сотрудничая в журнале «Русское Богатство», пытался доказать несостоятельность теории Маркса в ее применении к сельскому хозяйству. В 1899 г. эмигрировал за границу, здесь как член ЦК стал идеологом и вождем партии эсэров. Во время войны продолжал вести, как и ранее, неустойчивую политику, шатаясь между оборончеством и интернационализмом. После февраля 1917 г. министр правительства Керенского. После Октября вел, а ныне за границей продолжает вести борьбу с советской властью.

[51] Галин — псевдоним писателя эсэра Юделевского Я. Л.

[52] «Искра» — неотложная необходимость иметь свою рабочую газету, свой партийный орган, остро ощущалась вернувшейся из ссылки группой социал-демократов «стариков», поставившей себе целью строительство партии, существовавшей тогда в виде отдельных кустарнических кружков. Невозможность издания в России вынудила Ленина и других товарищей эмигрировать за границу и здесь с помощью Группы Освобождения Труда наладить издание по плану псковского совещания 1900 г. Под руководством и при участии Ленина вышел 51 номер «Искры». В ноябре 1903 г. Ленин вышел из состава «Искры», так как редакция, руководимая Плехановым, переметнулась к меньшевикам и вела работу вразрез с резолюциями 2-го съезда партии. 3-й съезд партии не признал «Искру» центральным органом партии и создал новый орган «Пролетарий». После этого «Искра» существовала как орган меньшевиков до октября 1905 г.

[53] Кричевский Б. Н. — один из первых социал-демократов. Литератор. В 90-х гг. эмигрировал за границу, где выпускал популярную литературу. Был представителем и защитником «экономизма», являясь ревизионистом типа западных социал-демократов, как Бернштейн. «Искра» вела с Кричевским резкую борьбу. После 2-го съезда партии Кричевский никаким влиянием не пользовался.

[54] Карпович П. В. (1875–1917) — студент. Эсэр. Участвовал в студенческих беспорядках. 14 февраля 1901 г. убил министра народного просвещения Боголепова, автора постановления об отдаче студентов-участников беспорядков в солдаты. Карповича осудили на 20 лет каторги. Сидел в Шлиссельбурге до 1905 г., после чего был сослан в Сибирь. Бежал за границу. В 1917 г., возвращаясь в Россию, Карпович погиб при взрыве немецкой подводной лодкой парохода, на котором он ехал.

[55] Горький М. (А. М. Пешков). — Род в 1868 г. Крупный русский писатель, вышедший из низин народа. Горький всегда активно участвовал в общественной и политической жизни, был связан с рабочим движением и социал-демократической партией. Примы-

кал к большевикам, всемерно помогая партии. Был связан с Лениным. Во время войны оставался интернационалистом. После февраля 1917 г., работал в газете «Новая Жизнь», занимавшей соглашательско-объединенческую позицию. После Октября 1917 г. вначале колебался, затем вступил в тесное сотрудничество с советской властью, особенно по вопросам культурного строительства. Октябрьские ошибки изжил и во всем приемлет диктатуру пролетариата. Живет в Италии, находясь в тесном общении с СССР, переписываясь с писателями, рабкорами и молодежью. Литературной деятельностью занимается беспрерывно, давая монументальные литературные памятники из дореволюционной и частично-революционной России. В мае 1928 г. временно вернулся в СССР к своему 60-летнему юбилею. Пролетариат СССР горячо приветствовал своего писателя.

[56] Мартов Ю. О. (1873–1923) — вождь и теоретик меньшевизма. Начал свою революционную работу в 90-х годах, участвуя вместе с Лениным в петербургском Союзе борьбы за освобождение рабочего класса. В 1896 г. арестован и после тюрьмы сослан на 3 года в Туруханск. После ссылки работал на юге России, агитировал за поддержку газеты «Искра». В 1901 г. эмигрировал за границу, где принял участие в работе «Искры» и «Зари». На 2-м съезде партии остался с меньшинством, связав с ним до конца дней свою политическую деятельность, неизменно участвуя в меньшевистских центрах. После февраля 1917 г. не соглашался по ряду вопросов с меньшевиками, но после Октября стал в ряды противников советской власти. В 1921 г. эмигрировал за границу, где руководил меньшевистским «Социалистическим Вестником» и активно участвовал в создании «Венского Интернационала» (двухсполовинного).

[57] Зубатов С. В. (1864–1917) — в студенческие (80-е) годы принимал участие в революционном движении молодежи. Впоследствии перешел на службу в охранное отделение. С 1889 г. помощник начальника, а потом и начальник московского охранного отделения. Практиковал свою систему вербовки провокаторов из среды революционеров. Стремился разложить рабочее движение, создавая рабочие общества, которые занимались исключительно эконо-

мической борьбой с предпринимателями, отметая политическую борьбу и поддерживая царизм. Одна из руководимых зубатовцем Шаевичем стачка в Одессе в 1903 г. переросла из экономической в политическую, так что город остался без хлеба, света и воды. Полиция жестоко расправилась с рабочими, а система Зубатова пала; сам он был уволен в 1903 г., получил отставку и выслан во Владимир. В 1905 г. снова работал в департаменте полиции. Застрелился при известии о февральском перевороте 1917 г.

[58] Независимое еврейское рабочее движение — было организовано сторонниками Зубатова и имело целью отвлечь еврейские рабочие массы от политических партий, перетянуть на сторону правительства обещанием последнего поддержать рабочих в борьбе за их повседневные экономические нужды. Была организована в Минске «Еврейская независимая рабочая партия». Первое время она имела значительный успех даже среди организованных рабочих. Так, по словам Зубатова, в Минске из 800 человек, входивших в организацию Бунда, 600 перешло к независимцам. Партия просуществовала до июля 1903 г. и закончила свое существование под влиянием: 1) усилившегося в стране рабочего движения, повсеместно перераставшего от первоначально предъявленных чисто экономических требований к политическим лозунгам, 2) неустанной агитации Бунда, 3) кишиневского еврейского погрома (6 апреля 1903 г.) и 4) приказа Плеве приостановить развитие легального рабочего движения.

[59] Гапоновское движение — вдохновлялось священником Г. А. Гапоном (умер в 1906 г.) Он организовал в 1904 г. легальное «общество русских фабрично-заводских рабочих», созданное в полицейских целях под руководством Зубатова. Общество стремилось мелкими подачками со стороны капиталистов отвлечь рабочих от политической борьбы. Гапону пришлось руководить движением масс, шедших с петицией к царю 9 января 1905 г. Шествие было грандиозно, до 200 тысяч рабочих с женами и детьми, с пением «Отче наш» пошли ко дворцу, но верноподданническую демонстрацию встретили свинцом. Гапон после 9 января снял рясу и эмигрировал за границу, примкнул к эсэрам, вскоре от них ото-

шел, вернулся в Россию. Здесь его уличили в сношениях с охранкой, и он был убит его последователями-рабочими при содействии эсэра П. Рутенберга.

[60] Вильбушевич М. В. — арестована в 1900 г., как социал-демократка-бундовка. Зубатов сагитировал ее для работы в создаваемых им рабочих полицейских организациях. С ее помощью была организована еврейская независимая рабочая партия, ведшая борьбу экономическую на почве сохранения самодержавия. Энергично боролась с социал-демократами и Бундом. При ее содействии Зубатов выловил немало работников. После ликвидации независимой партии Вильбушевич эмигрировала в Америку, где продолжала борьбу с Бундом. Впоследствии переехала в Палестину, став в ряды сионистов, идеологов еврейской буржуазии, стремящихся создать «правоохраненное убежище» для «еврейского народа» в Палестине.

[61] Шаевич Г. И. — сторонник Зубатова, деятель еврейской независимой рабочей партии. Ранее участвовал в еврейском буржуазном движении сионистов. За одесскую забастовку, охватившую свыше 80 тысяч рабочих и перешедшую в стихийную — причем под влиянием социал-демократов были выставлены политические лозунги — Шаевич был арестован и выслан в Восточную Сибирь. Здесь он ничего общего с политическими ссыльными не имел, и последние бойкотировали его за прислужничество полиции.

[62] Гершуни Г. А. (1870–1908) — активную революционную работу начал после кратковременного ареста в 1901 г. Перешел на конспиративную заговорщическую работу. Уезжает за границу, где был одним из основателей партии эсэров. Руководитель Боевой Организации партии эсэров. В 1902 г. возвращается в Россию и организовывает убийство министра внутренних дел Сипягина, уфимского губернатора Богдановича, покушение на харьковского губернатора князя Оболенского. Арестован 13 мая 1903 г. в Киеве. Судился в феврале 1904 г. и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую 1½ года отбывал в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. С ликвидацией крепости Шлиссельбурга, его перевели в Сибирь (Акатуй). Отсюда он бежал

в ноябре 1906 г. в Японию, а оттуда в Америку. Впоследствии работал в Париже. Умер от саркомы.

[63] Махновец-Акимов В. П. (1875–1921) — революционную деятельность начал с 1895 г. В 90-х гг. уехал за границу, где примкнул к Союзу русских социал-демократов. Защищал крайние оппортунистические взгляды. С 1905 г. никакого участия в политике не принимал.

[64] Гурович М. И. (1861–1913) — провокатор. Подпольная кличка Иван Иванович, по паспорту Моисей Давидович Гуревич. После крещения был назван Михаилом Ивановичем. Революционную деятельность начал с гимназической скамьи. Привлекался за агитацию среди полтавских рабочих. В студенческие годы (1882–1884) жил в Москве, принимая деятельное участие в революционной организации Общестуденческий Союз. Был близок к «союзу милитаристов», стремившихся путем заговора произвести военно-политический переворот. Выслан в Сибирь. В 1889 г. находился под негласным надзором в Луганске. В 1894 г. стал провокатором, начав свою работу в Минске, а затем среди петербургской социал-демократии. Помог социал-демократам организовать журнал «Начало», легально популяризировавший идеи марксизма. В 1902 г. разоблачен, после чего стал видным чиновником департамента полиции. Умер в Ялте.

[65] «Былое» — журнал по истории революционного движения XIX и XX веков России. Основан в 1900 г. В. Бурцевым за границей. С 1906 г. издавался в Петербурге при соредакторстве В. Я. Богучарского и П. Е. Щеголева. В 1907 г. журнал закрыт, взамен вышли «Наша страна» и «О минувшем», а с 1908 г. «Минувшие годы». Закрыт навсегда с 1909 г. Снова вышел в 1917 г. до 1927 г. Журнал защищал взгляды радикальной народнической интеллигенции. Вначале проповедовал террор, как средство добиться политической свободы, а с 1917 г. осуждал большевизм. Впоследствии, освободившись от влияния В. Бурцева, печатал ряд интересных исторических материалов.

[66] Рубанович И. А. — род в 1860 г. Народоволец, впоследствии эсэр. Член ЦК и представитель партии на международных конгрес-

сах II Интернационала. В годы войны социал-патриот. После Октября 1917 г. противник советской власти, живет за границей.

[67] Жорес Жан (1859–1914) — вождь французских социалистов. Убит националистами за несколько дней до объявления мировой войны, когда он вел агитацию во Франции против надвигающейся войны. Крупный оратор, политический деятель, основатель газеты «Юманите», ныне издающейся французской коммунистической партией. Написал ряд исторических и философских работ, среди них выдаются: «Новая армия» и «История французской революции».

[68] Плеве В. К. (1846–1904) — наиболее яркий представитель царизма конца XIX и начала XX вв. В 80-х гг. упорно борется с народовольцами. В 90-х гг. воюет с независимостью финляндского народа. После убийства Сипягина назначается министром внутренних дел. Под его руководством подавляются крестьянские волнения, устраиваются еврейские погромы. Разгоняя рабочие организации, он одно время поддерживает зубатовщину (полицейскую форму легального рабочего движения), стараясь отвлечь пролетариат от революционной борьбы. Преследуя студенчество, земства, он возбудил к себе всеобщую ненависть. Был одним из инициаторов русско-японской войны, надеясь отвлечь этим боевую революционную энергию масс. Убит 15 июля 1904 г. эсэром Сазоновым в Петербурге.

[69] Святополк-Мирский П. Д. (1857–1914) — генерал-адъютант, был губернатором в Пензе и Екатеринославе. В 1900 г. назначается товарищем министра при министре внутренних дел Сипягине и командиром отдельного корпуса жандармов. Полицейская политика Плеве оттолкнула от правительства самые умеренные элементы общества, вплоть до «либерального дворянства» в лицеземских деятелей эпохи. Святополк-Мирский преемник Плеве после убийства последнего Сазоновым. В своей программной речи перед членами министерства он заявил о доверии к общественным силам. Это назначение было встречено либералами, как показатель решительного перехода к новой политике. «Искра» характеризовала новое министерство, как «министерство приятных улыбок». 19 января 1905 г. Мирский уходит в отставку и министром внутренних дел и фактическим диктатором становится Трепов Д. Ф. , высокопоставленный черносотенный погромщик, провозгласивший во время

всеобщей забастовки 14 октября 1905 г. «патронов не жалеть и холостых залпов не давать».

[70] Боевая Организация партии эсэров выносила приговоры и выполняла террористические акты по отношению к особенно вредным, по их мнению, представителям царизма.

[71] Балмашев С. В. (1882–1902) — революционер. Выходец из семьи ссыльного народника. В 1900 году обучался в Киевском университете, принимая активное участие в студенческих волнениях и забастовке-протесте студентов. Арестован в январе 1901 г., после непродолжительной тюремной жизни был сдан в солдаты, но новый курс правительства «сердечного попечения» освободил его от службы, и он уезжает в Харьков, где, связавшись с революционной средой, ведет работу в кружках рабочих. Он не делает различия между принадлежностью этих кружков к социал-демократам или эсэрам, считая, что обе партии не имеют разницы в практическом осуществлении своих программ. Вскоре он возвращается в Киев, где снова поступает в университет. Студенческое движение благодаря новым «временным правилам» поднялось. Аресты студентов, страшные гонения и сдача в солдаты были мерами борьбы правительства. Студенчество мстит через Балмашева убийством министра внутренних дел Сипягина 3 апреля 1902 г.

Эсэры заявили, что Балмашев выполнил постановление партии, в то время как сам Балмашев на суде заявил, что «его единственным помощником было русское правительство» «Искра» писала о Балмашеве, что он был социалистом, был революционером, и что убийство — это акт студенчества за правительственные репрессии.

Балмашев повешен 3 мая 1902 г. в Шлиссельбургской крепости.

[72] Каляев И. П. (1877–1905) в 1899 г., будучи студентом Петербургского университета, принял активное участие в студенческих волнениях. Был арестован и после трехмесячного тюремного заключения выслан в Екатеринослав. Здесь он принял участие в революционной работе, примкнув к социал-демократии. Вскоре уехал за границу.

Немецкие власти выдали Каляева русскому правительству, заключившему его в варшавскую тюрьму. После отсидки он был выслан в Ярославль, а оттуда уехал за границу, вступив под влиянием

Савинкова в Боевую Организацию эсэров. Участвовал в покушении на Плеве, а 4 февраля 1905 г. убил великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора. Каляев повешен в Шлиссельбурге 10 мая 1905 г.

[73] Сазонов Е. С. (1879–1910) в 1901 г. участвовал в студенческих беспорядках в Москве. В 1902 г. арестован за хранение революционной литературы. Просидел свыше года в тюрьме. В марте 1902 г. Сазонова арестовали за участие в одном из революционных съездов. Сидел в тюрьме более года. В 1903 г. выслан на 5 лет в Якутскую область, откуда бежал за границу. Стал членом Боевой Организации эсэровской партии, по поручению которой, вернувшись нелегально в Россию, убил 15 июля 1904 г. министра внутренних дел, Плеве, за что осужден на каторжные работы. Наказание отбывал в Шлиссельбурге, а затем в Акатуйских рудниках (Сибирь). 27 ноября 1910 г. кончил жизнь самоубийством, протестуя против издевательств над политическими заключенными.

[74] Манифест 17 октября имел целью оторвать буржуазию от революции приманкой «незыблемых основ гражданской свободы» и расширением избирательного закона.

[75] Струве М. Б. род в 1870 г. Вначале социал-демократ и автор манифеста 1-го съезда партии. Видный деятель «легального марксизма» в 90-х годах, доказывавший, что необходимо сотрудничество классов, мирная эволюция социализма. После 1901 г. перешел к либералам. Возглавлял Союз Освобождения — земцев-конституционалистов. Впоследствии член ЦК кадетской партии. После 1905 г. лидер правых либералов, а еще позднее монархист. После Октября участник Деникинского правительства, министр у Врангеля. С 1925 г. в Париже редактирует православно-монархическую газету «Возрождение».

[76] Витте С. Ю. (1849–1915. — русский государственный деятель конца XIX и начала XX веков, крупный и дальновидный министр кабинетов Александра III и Николая II. Начав с должности скромного железнодорожного чиновника, он дослужился до высших постов. Много содействовал развитию капитализма: расширением железнодорожной сети, укреплением валюты, покровительством промышленности. Вел переговоры о заключении русско-японского

мира. В 1905 г. предлагал ряд реформ, дабы ликвидировать революционное движение. Манифест 17 октября составлен Витте. После поражения революции 1905 г. Витте получил отставку и больше не привлекался к руководству государственными делами.

[77] Лопухин А. А. род в 1864 г. Бывший директор департамента полиции в 1902–1905 гг. Стремился реорганизовать полицейскую систему России, но реальных результатов не добился. После своего увольнения издал книжку «Из итогов служебного опыта» — настоящее и будущее русской полиции, в которой критиковал полицейскую систему России и предлагал меры по ее усовершенствованию. После оказания В. Бурцеву содействия в разоблачении Азефа был привлечен к ответственности по обвинению и принадлежности к партии эсэров и в содействии ей. Особым присутствием сената присужден был к пяти годам каторги, которая была ему заменена ссылкой в Сибирь. По царскому указу 4 декабря 1912 г. Лопухин был помилован и восстановлен в правах.

Служил в Москве, как вице-директор Сибирского торгового банка. Сейчас живет за границей.

[78] Гоц М. Р. (1866–1906) в студенческие годы принял участие в работе народовольцев. Арестован в 1886 г. и после полутора лет тюрьмы сослан в Якутск. Здесь за участие в вооруженном сопротивлении политических ссыльных 22 марта 1889 г. осужден на бессрочную каторгу. В 1898 г. вернулся в Россию, а в 1900 г. эмигрировал. Один из основателей партии эсэров, представитель Боевой Организации за границей.

[79] Михайловский Н. К. (1842–1904) — крупный теоретик народничества конца 80-х и 90-х гг., имевший большое влияние на интеллигенцию. Один из руководителей журнала «Отечественные Записки» и редактор журнала «Русское Богатство». Вел беспрерывно борьбу с марксистами, всячески обосновывая народничество. Эсэры считают его основоположником своей партии.

[80] «Московские Ведомости» — газета, основана в 1756 г., выражала мнение крайне правых кругов. Вначале редактировалась черносотенцем Грингмутом, затем реакционером Катковым, а впоследствии редакторство перешло к ренегату Льву Тихомирову.

[81] Михайлов А. Д. (1855–1884) — крупный революционер 70-х гг., один из основателей Земли и Воли. Работал среди раскольников, дабы вовлечь их в революцию. После разгрома землевольцев отказался от агитации «в народе» и защищал террор. Много работал как по организации террора, так и среди рабочих. Один из руководителей и членов Исполнительного Комитета Народной Воли. Арестован 22 ноября 1880 г. В 1882 г. осужден к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывал в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Умер 18/III.1884 г.

[82] Богучарский В. Я. — Яковлев (1861–1915) — историк. Исследователь русского революционного движения. В 1884–1890 гг. в ссылке за связи с народовольцами. Впоследствии легальный марксист. Входил в «центр» Союза Освобождения (нелегальная либеральная организация, имевшая влияние в земских и интеллигентских кругах), ставивший целью политическое освобождение России и установление конституционного режима. В 1906 г. соредактор «Былого». За октябрьскую книгу «Былое» 1907 г. после ареста и содержания некоторое время в тюрьме был в 1909 г. выслан за границу. Сначала он жил в Болгарии, а потом в Париже. Автор книг: «Активное народничество 70-х годов», «Партия Народной Воли ее происхождение, судьбы и гибель». Обе книги содержат большое количество ценного сырого материала и совершенно неверную оценку фактов.

[83] Съезд эсэров в Таммерфорсе в 1907 г.

[84] Крафт П. П. — входил в состав ЦК эсэров в 1905 г.

[85] Медников Е. П. — охранник. Был городовым московской полиции, затем заведовал отрядом филеров в охранном отделении. Работал вместе с Зубатовым и уволен после его ухода.

[86] Абрамович Р. А. (Рейн) — член ЦК Бунда и меньшевиков. Один из редакторов заграничного «Социалистического Вестника». Недавно объезжал граничащие с нами государства и доказывал неизбежность ближайшего падения советов.

[87] Доброскок-Добровольский Н. В. (кличка «Николай—золотые очки») — провокатор. Работал среди меньшевиков. После разоблачения служил чиновником. Петербургского охранного отделения. Впоследствии полицмейстер г. Петрозаводска и Ораниенбаума.

[88] Сергей, великий князь — московский генерал-губернатор, убит эсэром Каляевым И. П. 4 февраля 1905 г. Каляев был повешен за это убийство 10 мая 1905 г. в Шлиссельбургской крепости.

[89] Трауберг А. Д. («Карл») был письмоводителем судебного следователя, а затем скрылся и стал во главе Летучего Боевого Отряда северной области. Отряд совершил ряд убийств. Арестован 6 июля 1907 г., но скрылся. Вторично арестован 22 ноября 1907 .г по предательству Азефа.

[90] Савинкова С. В. — эсэрка. Сестра террориста Бориса Савинкова.

[91] Раковский Л. — охранник-провокатор. Служил агентом в охранке за границей.

[92] Лебединцев В. В. (Марио Кальвини) — эсэр. Участвовал в Летучем боевом отряде северной области в 1909 г. Подготовлял вместе с Траубергом взрыв правой фракции Государственного Совета. После провала при содействии Азефа этого проекта он заменил Трауберга в отряде. Арестован по предательству Азефа 6 февраля 1908 г.

[93] Щегловитов И. Г. (1861–1918) — член государственного совета с 1907 г., сенатор, дворянин и землевладелец. Черниговской губ., (2 600 десятин земли). С 1881 г. служил в разных должностях. В 1904 г. обвинял в особом присутствии сената И. Каляева. С 24 апреля 1906 г. по 6 июля 1915 г. министр юстиции. В 1917 г. председатель государственного совета.

[94] Максималисты — анархо-народническая группировка, считавшая, что можно немедленно ввести социалистический строй, не считаясь с историческими и экономическими условиями. Выделились они из партии эсэсров. После 1905 г. были небольшой группой, занимавшейся террором и экспроприацией.

[95] Стародворский Н. П. (1863–1925) — убил Судейкина. Был привлечен по делу Лопатина и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывал в Шлиссельбурге с 1887 по 1905 г.

[96] Бржозовский С. Л. (1876–1911) — польский литературный критик и публицист. Считал себя близким к социал-демократам.

До революции 1905 г. на его статьях воспитывалась социалистическая молодежь. После 1905 г. сближается с социал-патриотами и даже неокатоликами. Теоретически не последователен. В студенческие годы при аресте дал откровенные показания. Межпартийный съезд в 1910 г. судил его, обвиняя, что он писал обзоры для охранки, и признал виновным. Литературный мир его защищал, ссылаясь на то, что нет доказательств.

[97] Минор О. С. род в 1861 г. За участие в народовольческих кружках арестован в 1883 г., выслан в Якутск, здесь участвовал в вооруженном сопротивлении ссыльных и осужден на бессрочную каторгу. В 1898 г. разрешено выехать в Россию; в 1902 г. уехал за границу. Активный организатор партии эсэров, член ЦК. После февраля 1917 г. защищает правую позицию, после Октября участвует в вооруженной борьбе с Советами, эмигрирует и продолжает клеветать в парижской газете «Дни».

[98] Натансон М. А. (1849–1919) — один из организаторов кружка чайковцев. В 1871 г. арестован и выслан в Архангельскую губернию, оттуда в Воронежскую губ. и в Финляндию. Бежал в 1875 г. и нелегальным в Петербурге принялся восстанавливать разгромленные в 1874 г. силы кружка чайковцев. В 1877 г. Натансона снова арестовывают и высылают в Восточную Сибирь. По возвращении (1889 г.) в Европейскую Россию он (1893 г.) участвует в создании партии Народное Право и в 1894 г. арестовывается при разгроме этой организации. После длительного заключения в Петропавловской крепости Натансон высылается на 5 лет в Восточную Сибирь. При возникновении в 1902 г. партии социалистов-революционеров Натансон вступает в ее ряды и активно работает как член ЦК. Во время мировой войны, которая застает его в эмиграции, Натансон занимает интернационалистскую позицию и участвует в конференциях в Циммервальде и Кинтале, а после февраля 1917 г. он один из вождей партии левых эсэров, вошедшей в рабочее-крестьянское правительство после захвата власти большевиками. Натансон был представителем левых эсэров в ВЦИК'е после Октябрьской революции. После мятежа левых эсэров в июле 1918 г. и распада этой партии Натансон вошел в отколовшуюся «группу революционных коммунистов», вскоре примкнувших к РКП (б). Умер

за границей 70 лет от роду, будучи безоговорочным сторонником пролетарской революции советской власти.

[99] Леонович В. В. род в 1875 г. Народоволец. Привлекался в 1896 г. по делу лахтинской типографии. Живет в Москве.

[100] Савинков Б. В. (1879–1925) — крупный деятель партии эсэров. Вначале был социал-демократом, входя в 1901 г. в Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса. После ареста и ссылки превратился в народника, примкнув к эсэрам. В 1903 г. вошел в Боевую Организацию эсэров. Участник убийства Плеве в 1904 г., великого князя Сергея в 1905 г. По террору был в тесной связи с Азефом. В годы реакции писал романы из революционной жизни, где выявил разочарование революционным движением. В войне 1914 г. оборонец-доброволец французской армии. После февраля 1917 г. комиссар при ставке и помощник военного министра. Помогал генералу Корнилову в его контрреволюционном перевороте. После Октября враг Советов, организатор белогвардейских заговоров и восстаний. Эмигрировал за границу в 1924 г. При переходе обратно нашей границы арестован и осужден на 10 лет лишения свободы. На суде отказывался от дальнейшей борьбы с советской властью. В 1925 г. покончил жизнь самоубийством.

[101] Гнатовский А. Д. — эмигрант, народоволец. Входил в Виленскую группу студентов-поляков, помогавших А. И. Ульянову взрывчатыми веществами и деньгами в покушении на Александра III в 1887 г. После неудачного покушения скрылся за границу. Входил в кружок парижских народовольцев, готовившихся к террористической борьбе в России.

[102] Юделевич Я. Л. — эсэр. Писатель. Псевдонимы «Волин» и «Галин». Входил в парижскую эсэровскую группу «инициативного меньшинства», считавших, что рядом террористических актов следует атаковать правительство. Но действовать должна не одна, а несколько самостоятельных дружин. Ряд ударов боевиков приведет к поражению царствующего дома. Эта группа издавала газету «Революционная Мысль» в 1908–1909 гг.

[103] Агафонов В. К. (Сиверский) — проф. писатель, эсэр. Входил в парижскую эсэровскую группу «инициативного меньшинства».

[104] Процесс 21 состоялся в 1887 г. 26 мая. Всех 21 подсудимых, в том числе Г. Лопатина, П. Якубовича, Н. Салову, обвиняли в принадлежности к Народной Воле, организации Молодой Партии Народной Воли, в убийстве Судейкина 16.XII.83 г., вооруженных нападениях, устройстве тайных типографий, в изготовлении и хранении снарядов и т. д. Все участники процесса большей частью были взяты в связи с арестом Лопатина. Подсудимые были осуждены на разные сроки каторжных работ.

[105] Богров Д. Г. — анархист с 1906 г, служил в охранке с 1907 г., выдавал подпольщиков. Убил председателя совета министров Столыпина в 1911 г. в Киеве при содействии начальника охранного отделения Н. Кулябко. Повешен в 1911 г. Участники казни Богрова черносотенцы Сергеев и Кузнецов были обнаружены 4 июле 1928 г. Суд приговорил их к лишению всех прав и строгой изоляции на 5 лет.

[106] Через Бакая я писал Доброскоку, что за границей носятся какие-то неопределенные слухи о сношениях с охранным отделением четырех лиц: **Д.,** Вышинского, Азефа и Гринберг и просил навести справки об этих именах. О Д. незадолго перед этим в каких-то общественных организациях велись расследования по поводу его знакомства с кем-то из охранников. Точно не помню, в чем заключалось это дело — в свое время оно много заставило о себе говорить. (Д., кажется, был оправдан в подозрениях). «Вышинский» и «Гринберг» — имена выдуманные, первые попавшиеся мне под руку, когда я диктовал Бакаю письмо. Имя Азефа я нарочно поставил между другими именами. Доброскок не мог не знать Азефа или как революционера, или как провокатора и из того, что он стал отрицать, что ему известно имя Азефа, для меня было доказательством, что ему и Герасимову нужно его затушевать и свалить обвинение в провокации на кого-нибудь другого.

[107] Т. е. был арестован Трауберг, член Северной эсэровской летучки.

[108] Z. — это один из известных эсэровских деятелей. Его, как Леоновича, Герасимову надо было скомпрометировать. Но о нем я не упоминал никому, даже эсэрам, и его имя поэтому никогда не упоминалось ни в каких расследованиях.

[109] Эти карточки были помещены в «Былом».

[110] Покровский И. П. род в 1872 г. Лидер думской социал-демократии. Врач. Впервые арестован в 1902 г. в Петербурге и после двухлетней отсидки в тюрьме был выслан в Восточную Сибирь на поселение.

[111] Рубакин Н. А. родился в 1862 г. Писатель. Крупнейший знаток библиотечного дела. Издал капитальный труд «Среди книг» (3 тома), являющийся ценным вкладом в русскую библиографию. Много работал по вопросам грамотности и самообразования. Живет в Швейцарии.

[112] Зензинов В. М. родился в 1881 г. Окончил Московский университет. Член ЦК эсэров. После февраля 1917 г. лидер партии, с октября активный участник вооруженной борьбы с Советами. Вдохновитель чехословацкого восстания в 1918 г.

[113] Фроленко М. Ф. род в 1848 г. Один из самых выдающихся деятелей Народной Воли. В 1873 г. вступил в кружок чайковцев и занялся обучением рабочих грамоте. Вел пропагандистскую работу на Урале, в Смоленской губернии, в Николаеве. В 1877 г. увозит из одесской тюрьмы революционера Костюрина. В 1878 г. поступает в киевскую тюрьму надзиратёлем и освобождает революционеров Стефановича, Дейча, Бохановского. Принимал участие в подкопе под херсонское казначейство для конфискации оттуда денег. Участвовал в покушениях на Александра II. Арестован и в 1882 г. приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Из Шлиссельбурга вышел в 1905 г. В настоящее время живет в Москве.

[114] Бейтнер Л. Д. — провокатор. Сын чиновника, будучи изгнан из нижегородского кадетского корпуса в 1890 г. за сбыт украденных у купца денег, отсидел в тюрьме 7 мес. Уехал заграницу, учился в Цюрихе. В 1892 г. был заагентурен Рачковским. Предательство было раскрыто в июне 1908 г.

[115] Гессен И. В. род в 1866 г. Писатель. Присяжный поверенный. Организатор и активный деятель кадетской партии. Редактор журнала «Право», газеты «Речь». Депутат 2-й Государственной Думы.

Ныне редактирует в Берлине белогвардейскую бульварную газету «Речь» и белогвардейский «Архив русской революции».

[116] Милюков П. Н. род в 1859 г. Лидер кадетской партии. Вождь русских либералов. Во время первой думы кадеты прочили его в

премьер-министры. Во время войны был за захват Дарданелл. После февраля был министром иностранных дел. Нота союзникам 18 апреля 1917 г., что временное правительство остается верным всем царским обязательствам, вызвала протест рабочих, и он ушел в отставку. В августе 1917 г. шел вместе с генералом Корниловым, стремившимся объявить генеральскую диктатуру. После Октября поддерживал контрреволюцию. Сговаривался с немцами о свержении Советов. Живет в Париже, где редактирует газету «Последние Новости».

[117] Тайный съезд русских политических организаций в Париже в 1904 г. — В сентябре 1904 г. состоялась «конференция оппозиционных и революционных организаций российского государства». Присутствовало 8 организаций, почти все — эсэры, за исключением латышской социал-демократии. Конференция констатировала, что для всех одинаково приемлемо уничтожение самодержавия и замена его свободным демократическим строем на основе всеобщей подачи голосов, право национального самоопределения. Вопрос же о формах, методах и средствах борьбы с правительством оставался для каждой партии по ее усмотрению.

[118] Жученко З. Ф. (Гернгросс) — провокатор с 1893 г. В 1895 г. предала кружок Распутина, ставивший своей целью убить Николая II. По этому делу Жученко была выслана на 5 лет. В 1898 г выехала за границу и до 1903 г. была в стороне от работы. Весной 1904 г. по приглашению охранника Гардинга, заведующего берлинским русским розыском, вернулась к работе, освещая деятельность политических за границей. В 1905 г. переехала в Москву, где, входя в состав областного комитета эсэров и участвуя в конференциях, выдавала. Бурцев разоблачил Жученко в 1909 г. Правительство назначило ей пожизненную пенсию в 3600 рублей из сумм департамента полиции. Она жила в Германии. В 1914 г. была арестована по обвинению в шпионаже. Выпущена в 1917 г.

[119] Столыпин П. А. (1862–1911) — деятель царствования Николая II. Председатель совета министров и министр внутренних дел с 1906 г. Помещик-консерватор. Защитник зажиточного крестьянства, могущего стать опорой консерватизма. В бытность его министром внутренних дел, а затем премьером, погромы и военно-

полевые суды широко практиковались. Руководил ликвидацией революции в 1905–1907 годах. Жестоко преследовал аграрно-крестьянское движение. Подготовил и провел роспуск 1-й и 2-й Думы. Всячески стремился предотвратить революционное разрешение социальных противоречий. Известен также изменением изданной в 1905 г. конституции, ограничивавшей права монарха («государственный переворот 3 июня 1906 г.»). Изданный в том же году закон о выходе на отруба и хутора («закон 9 ноября 1906 г.») имел целью разрушение общины и создание сильного слоя «хозяйственных мужичков-кулаков». Первое покушение на Столыпина было 12 августа 1906 г., при вторичном покушении 1 сентября 1911 г. смертельно ранен провокатором из бывших революционеров Богровым Д. Г.

[120] Фигнер В. Н. — Род в 1852 г. Из дворян. Училась в Швейцарии в университете. Там вступила в один из русских социалистических кружков. В 1875 г. уехала в Россию для работы в народе. Видя невозможность революционной работы в условиях царизма и неподготовленность крестьянства к идеям социализма и революции, Фигнер после раскола Земли и Воли вступила в Народную Волю. Принимала участие во всех террористических предприятиях партии, а также в ее пропагандистской работе. Когда в 1882 г. вожди Народной Воли были арестованы, вся тяжесть работы легла на Фигнер, избегшей ареста. Арестована в 1884 г., приговорена к смертной казни, которая была заменена 20-летней каторгой. Сидела в Шлиссельбурге до 1904 г. и была освобождена. В настоящее время живет в Москве и занята литературной работой.

[121] Пешехонов А. В. род. в 1867 г. Народник. Организатор партии Народных Социалистов. После февраля был министром продовольствия у Керенского. В 1924 г. эмигрировал, там изучал советскую власть. А недавно снова заявил, что желает вернуться и работать с Советами.

[122] Меньшиков Л. П. род. в 1870 г. Участвовал в народовольческих кружках в 1885–87 гг. Был арестован 5.II.87 г. по доносу Зубатова. У него найдено много нелегальщины и остатки техники Общестуденческого Союза. Дал откровенные показания и был принят на службу в охранку. В 1909 г., уехав за границу, разоблачил провокаторов,

чем подорвал работу охранки. Революционеры его в свою среду не приняли. В 1925 и 1928 г. вышли его 2 тома материалов о работе в охранном отделении.

[123] Татаров Н. Ю. — Провокатор. Сообщал сведения о деятельности ПК эсэров и о Боевом Отряде М. Швейцера. В 1906 г. эсэры установили, что Татаров их провоцировал, и решили его убить. В том же году он был убит на своей квартире в Варшаве.

[124] Брешковская Е. К. род в 1847 г. Принимала участие в народническом движении и арестована в 1874 г. Впоследствии привлечена по делу о революционной пропаганде в империи 193-х. Присуждена была к 5 годам каторги. Вернулась с поселения в 1896 г. и резко боролась с социал-демократическим движением, занялась организацией партии эсэров, помогала Гершуни в терроре. В 1907 г. выдана Азефом, арестована и сослана в Сибирь. Вернулась из ссылки в 1917 г., заняв крайне правую позицию в партии эсэров. Враждебно отнеслась к октябрьскому перевороту, эмигрировала за границу, где поддерживала контрреволюционную деятельность эсэров. Живет в Париже.

[125] Тютчев Н. С. (1856–1924) — писатель. Эсэр. Входил в организацию Земля и Воля. Арестован в 1877 г. и сослан в Восточную Сибирь на 10 лет. Один из организаторов партии Народное Право, в 1894 г. защищавшей интересы зажиточных элементов деревни и верхушки групп городской интеллигенции. В 1905 г. по возвращении из ссылки входил в состав ЦК эсэров. Впоследствии занимался литературно-историческими работами. Написал ряд очерков об участниках и отдельных моментах истории революционного движения. Редактировал ряд воспоминаний крупных участников революции.

[126] Циллиакус Конни — финляндский писатель. Написал книгу «Революционная Россия» — возникновение и развитие революционного движения в России. В 1906 г. переведена на русский язык. Содействовал своей агитацией сбору денег в Америке для посланного в Петербург транспорта оружия. Транспорт был предназначен для готовившегося восстания, но пароход погиб в пути.

[127] Желябов А. И. (1851–1881) — сын крепостного крестьянина. Один из выдающихся членов Исполнительного Комитета партии

Народная Воля. В 1872 г. за участие в студенческих беспорядках исключен из одесского университета. С 1873 г. работал в кружке Волховского, примыкавшего к чайковцам. С 1874–1875 г. был арестован. В 1878 г. был привлечен по суду к процессу 193-х и оправдан, но подвергся административной ссылке, откуда бежал в Одессу. Много работал в кружках рабочих. В 1879 г. вошел в Народную Волю. Организовал покушение на царя (взрыв поезда 18 ноября 1879 г.) под Александровском (Запорожье), но неудачно. В дальнейшем деятельно участвовал во всех террористических актах Народной Воли. Организатор убийства царя 1 марта 1881 г. Арестован 27 февраля 1881 г. Привлечен по делу 1 марта по собственному настоянию, несмотря на отсутствие улик. Повешен 3 апреля 1881 г.

[128] Аргунов А. А. род в 1866 г. Правый эсэр. Участвовал в революционном движении с 80-х гг. Один из организаторов Северного Союза социал-революционеров (1896 г.), выработавшего основные положения программы эсэров. По делу Союза был осужден на 8 лет ссылки в Сибирь. С первого съезда партии эсэров (29 декабря 1905 г.) неоднократно избирается в центральные органы. В 1914 г. вместе с другими утверждал, что «поражение России в борьбе с Германией явилось бы также поражением ее в борьбе за свободу». После февраля 1917 г. остается на правом крыле эсэров, а с Октября активно борется с Советами. Пройдя путь через самарское учредительное собрание, сибирское правительство, он после поражения Колчака эмигрировал за границу. Поездка, о которой упоминает Бурцев, была в 1909 г. Аргунов по поручению ЦК вел переговоры с Лопухиным и получил ряд материалов для разоблачения Азефа.

[129] Белла Эсфирь (Лапина) — член Боевой Организации партии эсэров. Была в числе 20 эсэров, высказавшихся за расследование и допрос Азефа.

[130] Иванов С. А. (1859–1927) — видный деятель Народной Воли. В 1879 и 1881 гг. был сослан в Сибирь, откуда бежал в 1882 г., продолжая энергично работать на юге. В 1885 г. был за границей. В конце 1885 г. вернулся, а в январе 1886 г. арестован и приговорен по суду к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Каторгу отбывал в Шлиссельбурге, откуда вышел в 1905 г. Впоследствии работал у эсэров.

[131] Блеклов С. М. — эсэр. 14 ноября 1905 г. был арестован, как член бюро съезда, по делу делегатов Всероссийского Крестьянского Союза. Состоял в комиссии по ликвидации всех дел в связи с раскрытием предательства Азефа.

[132] Лункевич В. В. — эсэр. Литератор. Выпустил ряд популярных книг по естествознанию.

[133] «Новое Время» — газета, издававшаяся в Петербурге с 1876 г. А. С. Сувориным. Орган консервативно-дворянских и бюрократических кругов, преследовавший всякие проявления оппозиционного и революционного движения. Закрыта газета после октября 1917 г. Издается сейчас в Болгарии сыном Суворина и является органом монархистов, изгнанных из России Октябрьской революцией.

[134] Батушанский Б. Я. — провокатор.

[135] Мануйлов-Манусевич И. Ф. (1869–1918) — авантюрист, сотрудник «Нового Времени», близкий к охранному отделению и правительственным кругам и ряду министров. Друг Григория Распутина. 18 февраля 1917 г. был осужден на 1 ½ года тюрьмы за шантаж и взятку в 25 тыс. рублей. 27 февраля 1917 г. при пожаре дома предварительного заключения был освобожден наравне с другими. Вступил в число сотрудников издававшегося в Петрограде Бурцевым журнала «Общее Дело». После Октябрьской революции пытался бежать за границу, но на границе с Финляндией арестован нашими пограничниками.

[136] Морозов Н. А. род в 1854 г. В 1874 г. вступил в Москве в пропагандистский кружок чайковцев. Увлеченный общим потоком, охватившим тогда часть молодежи, «ходил в народ». Спасаясь от арестов, последовавших за этим «хождением», уехал за границу. В 1875 г. на обратном пути в Россию был арестован. Был в числе 193-х человек, судившихся за противоправительственную пропаганду. Суд, зачтя предварительное заключение, освободил его от наказания. Вступил в революционное общество Земля и Воля. После раскола этого общества Морозов, стоявший на точке зрения террора, примкнул к Народной Воле как активный террорист. В 1881 г. его арестовали и приговорили к бессрочной каторге. Просидел все 24 года в Шлиссельбурге и освобожден в октябре 1905 г. Все время

занят научной работой, автор многих трудов по естественным наукам и по истории христианства. Живет в Нижнем Новгороде.

[137] Новорусский М. В. (1861–1925) — выходец из семьи низшего сельского духовенства. Привлекался к суду по делу о покушении на Александра III. У него на квартире А. И. Ульянов готовил динамит. Новорусский был приговорен к бессрочной каторге. Пробыл в Шлиссельбурге до 1905 г. Впоследствии занимался литературной работой.

[138] Оржих Б. Д. род в 1863 г. Народоволец. Арестован в 1886 г., и в 1888 г. присужден к вечной каторге. Отбывал ее в Шлиссельбурге, а после 10 лет переведен на Сахалин. Во время русско-японской войны эмигрировал в Японию, а затем в Америку. Свою народовольческую деятельность провел на юге России, желая создать южную организацию Народной Воли.

[139] Партия народных социалистов откололась от партии социалистов-революционеров на ее первом съезде (29 октября 1905 г. — 3 января 1906 г.) Она составила промежуточную группу между эсэрами и кадетами. Группировались они вокруг народнического журнала «Русское Богатство».

[140] Ювачев И. П. род в 1860 г Арестован 2 марта 1883 г в с Верхоленске в связи с предательством Дегаева Осужден был на каторгу Сидел в Шлиссельбурге, где сошел с ума и переведен в 1887 г на Сахалин

[141] Дурново П. Н. (1845–1915) — видный деятель царского режима, рьяный реакционер. Товарищ министра внутренних дел по 1905 г., затем министр до апреля 1906 г., когда вышел в отставку. Жестоко расправлялся с революционным движением, вдохновляя черносотенные организации на погромную деятельность. Был членом государственного совета, лидер его правых элементов.

[142] Путята О. Ф. — провокатор.

[143] Хрусталев-Носарь Г. С. — первый председатель совета рабочих депутатов в 1905 г., где пытался вести внепартийную политику, но впоследствии примкнул к меньшевикам. По делу Совета был выслан в Тобольскую губ., откуда бежал за границу. Здесь он скомпрометировал себя рядом реакционных антисемитских и уголов-

ных похождений. Во время войны вернулся «защищать отечество», был арестован за побег и в 1917 г. выпущен революцией. После Октября организовал в Полтавской губ. «Переяславскую республику», устраивал погромы, выдавал немцам и Скоропадскому коммунистов. Боролся с советской властью и расстрелян как контрреволюционер в 1918 г. (См. Д. Сверчков о Хрусталеве-Носаре).

[144] Эжен Пти — секретарь Мильерана.

[145] Мазуренко С. П. — с начала 90-х г участвует в социал-демократическом движении, работая на Украине. В 1905 г. принимал активное участие во Всероссийском Крестьянском Союзе. В 1905 г. бежал за границу, примкнув к меньшевикам-ликвидаторам. В 1917 г. выступает, как правый эсэр, впоследствии принимает участие в Донском белогвардейском правительстве. Был в эмиграции, вернулся и одно время работал в наркомземе.

[146] Лукашевич И. И. (Доминик) род в 1863 г. Был привлечен по делу 1 марта 1881 г. о цареубийстве. Смертная казнь была заменена ему каторгой. Лукашевич при подготовке убийства собирал средства и работал по изготовлению снарядов; изобрел систему снарядов. В Шлиссельбурге провел 18 1/2 лет, работая над курсом научной философии.

[147] Шебалин М. П. род в 1857 г. В революцию вступил в 1876 г. Организовал типографию в Петербурге. Ликвидировал ее и выехал в Киев, где работал до 1884 г. Арестован и киевским судом приговорен к 12 годам каторги, которые провел в Шлиссельбурге. После был на поселении в Вилюйске. В настоящее время живет в Москве.

[148] Ашенбреннер М Ю. (1842–1926) — видный деятель военной организации Народной Воли. В 1864 г. за отказ принять участие в подавлении польского восстании переведен в Туркестан. С 1880 г. отдает всю энергию организации кружков среди военных и сплочению их вокруг Народной Воли. В марте 1883 г. арестован и по процессу 14-и (террористическая деятельность) приговорен к смертной казни, замененной заключением в Шлиссельбург. Отсюда Ашенбреннер вышел в 1904 г., просидев в тюрьме 20 лет.

[149] Попов М. Р. (1851–1909) из духовной среды. С осени 1875 г. жил под Петербургом, агитируя среди рабочих. Вошел в организа-

цию Земля и Воля. Был членом кружка в Ростове, занимавшегося пропагандой среди интеллигенции и рабочих. В 1877–78 гг. продолжал пропагандистскую работу среди петербургских рабочих. Наравне с Плехановым сыграл видную роль в руководстве забастовкой на фабрике Торнтона в Петербурге в марте 1878 г. Выступает против террора, после раскола Земли и Воли примыкает к Черному Переделу. Принимает меры к соединению Народной Воли и Черного Передела. Попову удалось связать свою работу с народовольцами, и он начал вести одновременно с террористической деятельностью работу в народе. В феврале 1879 г. убил шпиона Рейнштейна. В 1880 г. арестован и приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Из Шлиссельбурга вышел в 1905 г.

150 Анненский Н. Ф. (1843–1912) — писатель. Деятель-общественник 60–90-х гг., связанный с прогрессивными и революционными кругами. Написал ряд работ по статистике и экономике в народническом духе. Впоследствии в 1906 г. член партии Народных Социалистов. В свое время сыграл крупную роль в организации русской статистики. После 1906 г. отошел от политической работы.

151 Венгеров С. А. (1855–1920) — литературный критик. Под его редакцией вышел ряд русских и переводных классиков. Им самим написаны труды о Тургеневе И. С. , Писемском А. Ф. и «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых» (под его редакцией), очерки по истории русской литературы и много других.

152 Переверзев П. Н. — присяжный поверенный. Эсэр. Прокурор СПБургской судебной палаты (1917 г.) и бывший министр временного правительства. В июльские дни опубликовал подложные документы о большевиках, после чего ушел в отставку.

153 Виссарионов С. Е. (1867–1918) вначале (1889 г.) работал по судебному ведомству, с 1908 г. — при министерстве внутренних дел, а с 1912 г. — вице-директором департамента полиции, в 1913 г. — член совета по делам печати, в 1915 г. — член совета министерства внутренних дел.

154 Заварзин П. П. род в 1868 г. Начальник охранного отделения в гор. Варшаве и Москве. Полковник отдельного корпуса жандармов.

[155] Короленко В. Г. (1853–1921) — популярный писатель-народник. В революционном движении участвовал как студент в 70-х годах. Был выслан и жил под надзором полиции. Литературную деятельность начал с 1875 года. Крупными произведениями являются: «История моего современника», «Без языка» и др.

[156] Рубинштейн Д. Л. род в 1876 г. Банкир. Известен был под именем «Мити Рубинштейна» Был близок к Г. Е. Распутину и устраивал его коммерческие дела. Крупный акционер черносотенной газеты «Новое Время» А. А. Суворина. В 1916 г. был арестован по подозрению в спекуляции. В настоящее время в эмиграции.

[157] «Русская Воля» — ежедневная петербургская газета. Основана в 1916 г. членом государственной думы Протопоповым В. А. (черносотенцем) и содержалась банками.

[158] Керенский А. Ф. род в 1881 г. На политическую арену выступил в 1905 г., подписав коллективный протест против ареста радикалов, шедших на переговоры с Витте и Святополк-Мирским, дабы предотвратить расстрел 9 января. Присяжный поверенный, с успехом выступавший на политических процессах. Член 4-й государственной думы. Во время войны социал-патриот. После февраля 1917 г. был товарищем председателя петербургского совета. Вошел в коалиционное министерство, как министр юстиции, против воли Исполкома Совета. Впоследствии военный, морской, премьер-министр и главнокомандующий армией. Исполнитель воли союзников в июльском наступлении армии. Все время вел соглашательскую политику, приводившую к контрреволюции и бонапартизму. После октября 1917 г. во главе войск наступает на Петроград, но после поражения под Гатчиной бежит и эмигрирует за границу, где клевещет на СССР. Не пользуется никаким авторитетом даже среди белоэмигрантов.

[159] Соболь А. М. (1888–1926) — писатель. В революционном движении принял участие в 1904–05 гг. В 1906 г. осужден на 4 года каторги. В 1909 г. бежал за границу. В 1915 г. вернулся в Россию и добровольно пошел в 1916 г. на фронт. В 1917 г. был комиссаром 12-й армии северного фронта. Писать стал в 1913 г. Наибольшую известность получил в 1915 г. его роман «Пыль». Застрелился 7 июня 1926 г.

Владимир Львович Бурцев

В погоне за провокаторами

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru